

ISSN 0132-1

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

4

1988



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ИЮЛЬ—АВГУСТ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Черных М. Н.</i> Деятельность Ю. Мархлевского в Советской России в 1918—1920-х годах	3
<i>Григорьянц Т. Ю.</i> Западногерманская буржуазная историография 50—60-х годов об отношениях ФРГ со странами социалистического содружества	13
<i>Медведева О. В.</i> Российская дипломатия и эмиграция болгарского населения в 1830-е годы (по неопубликованным документам Архива внешней политики России)	24
<i>Бергельсон В. Б.</i> Тема «расчетов с прошлым» в творчестве Т. Брезы первых послевоенных лет	34
<i>Михайловская Н. Г.</i> Контакты близкородственных славянских языков в художественном тексте (на материале повести Виктора Козько «Судный день»)	44
<i>Хелимский Е. А.</i> *VELE, *VOLJE	54

НАВСТРЕЧУ X МЕЖДУНАРОДНОМУ
СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

<i>Литавин Г. Г., Флоря В. Н.</i> Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси (некоторые сравнительные сопоставления)	60
---	----

ИТОГИ XI ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ИСТОРИКОВ-СЛАВИСТОВ

<i>Загоруйский Э. М., Мельцер Д. Б., Позняк С. В.</i> Великий Октябрь и зарубежные славянские страны	68
Мнения участников конференции	75

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВИСТИКИ

<i>Смирнов С. В.</i> Академик И. В. Ягич. К 150-летию со дня рождения	78
---	----

ПАЙДЕНО В АРХИВАХ

<i>Мусяенко С. Ф.</i> История одного письма (или новос о Зофье Налковской)	85
--	----

4

1988

ЖУРНАЛ

ОСНОВАН

В 1965

ГОДУ

МОСКВА

СООБЩЕНИЯ

<i>Пуцко В. Г.</i> Новые книги о славянских рукописях	90
<i>Шумилов А. А.</i> Еще раз о термине «сербский хорей»	95

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Из редакционной почты	98
---------------------------------	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Колесницкий Н. Ф.</i> Раннефеодальные государства на Балканах VI—XII вв.	101
<i>Поп И. И. Л. Я. Гибянский.</i> Советский Союз и новая Югославия	104
<i>Улунян А. А. В. М. Хевролина.</i> Революционно-демократическая мысль о внешней политике России и международных отношениях. Конец 60-х — начало 80-х годов XIX в.	107
<i>Конон В. М.</i> Энциклопедия о Янке Купале	109
<i>Орел В. М. Kondratiuk.</i> Elementy bałtickie w toponimii i mikrotoponimii regionu Białostockiego	111

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

<i>Мельников Г. П. Kučera M.</i> Postavy veľkomoravskej histórie	113
<i>Паузов Е. П. J. V. A. Fine Jr.</i> The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest	114
<i>Чабаненко В. А. Поповський А. М.</i> Мова фольклору та художньої літератури південної України XIX — початку XX століття	115

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Гудков В. П.</i> Юбилей Вука Караджича в СССР	116
<i>Досталь М. Ю.</i> Выездная научная сессия памяти И. И. Срезневского	117
<i>Журавель В. Б.</i> V симпозиум «Белорусско-болгарские языковые параллели»	119
<i>Романчук Е.</i> Республиканская конференция «Связи литовской литературы с литературами СССР и зарубежных стран»	121
<i>Софронова Л. А.</i> О культурных связях Польши и России	123



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю. МАРХЛЕВСКОГО В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1918—1920-х ГОДАХ

Среди многочисленных польских революционеров, вставших под знамена Октябрьской революции, почетное место занимает Юлиан Мархлевский — один из основателей и руководителей партии польских социал-демократов (СДКПиЛ), последовательный и активный сторонник польско-русского революционного союза, шедший в одном ряду с такими видными деятелями партии, как Р. Люксембург, Ф. Дзержинский, Б. Весоловский, А. Варский.

Вынужденный в 90-х годах эмигрировать из России в Германию, Ю. Мархлевский и там, продолжая свою деятельность в польской социал-демократии, активно включился в германское рабочее движение, отстаивал его классовые интересы в своих работах. Он был соратником Ф. Меринга, К. Либкнехта, Р. Люксембург, К. Цеткин — лидеров левых в германской социал-демократии. В период первой мировой войны эта группа, вопреки руководству партии, развернула антивоенную деятельность, а затем создала революционную организацию «Союз Спартака». За участие в антивоенной деятельности Мархлевский был заключен германскими властями в 1916 г. в концентрационный лагерь. В июне 1918 г. Советское правительство, воспользовавшись условиями Брестского договора с Центральными державами, помогло ему освободиться из лагеря (его обменяли на пленного немецкого генерала) и переехать в Советскую Россию.

Для революционера такого масштаба было совершенно очевидно величие происшедших в России революционных событий. Свое отношение к ним он выразил так: «Русская революция — решающее событие для истории Человечества. С нее будет датироваться новая эпоха — эпоха социализма, эпоха освобождения трудящихся масс, эпоха новой культуры» [1]. Поселившись в Москве, Мархлевский без промедления включился в общественную жизнь страны, переживавшей в то время тяжелый период. Благодаря широкой известности как ученого, идеолога, политика не только польской, но и международной социал-демократии, Ю. Мархлевский вскоре был кооптирован по предложению Я. М. Свердлова в состав ВЦИК с назначением на работу в Центротекстиль [2]. Это объединение возглавляло тогда крупнейшую отрасль русской промышленности с самым большим количеством фабрик и заводов, продукция которых имела чрезвычайно важное гражданское и военное значение. Здесь Ю. Мархлевский, обладавший широкими экономическими знаниями и определенным опытом работы в текстильном производстве (после окончания гимназии некоторое время трудился в красильне), участвовал в необыкновенно новом деле — в управлении национализированных предприятий, помогая тем самым промышленности решать в условиях невероятной послевоенной разрухи наиболее трудную задачу «перехода к социализму» [3, т. 36 с. 133].

Одновременно Мархлевский много сил и энергии отдавал партийной работе среди групп СДКПиЛ, а также многочисленного польского населения, оказавшихся в связи с первой мировой войной на территории Советской России: участвовал в собраниях и конференциях, часто выступал с речами и докладами перед польскими трудящимися, был организатором митинга в августе 1918 г., где перед польскими солдатами-добровольцами, отправлявшимися на фронт, с речью выступил В. И. Ленин.

В конце сентября 1918 г. Мархлевского переводят на работу в Народный комиссариат по иностранным делам. Здесь он вплотную знакомится с внешнеполитическими проблемами молодой республики, контактирует с виднейшими деятелями Советского государства. Предполагалось направить его с дипломатической миссией сначала в Австрию, а затем в Польшу. Однако из-за нежелания правительства этих стран установить дипломатические отношения с новой Россией эти миссии не состоялись.

Полученная в конце года от К. Либкнехта и Р. Люксембург телеграмма с просьбой приехать в Германию привела Мархлевского в эту страну во второй половине января 1919 г., но своих друзей он уже не застал в живых. Восстание немецких рабочих в Берлине было подавлено. В трудных условиях разгула контрреволюции Мархлевский работал некоторое время в ЦК КИГ, а затем в Рурском бассейне, где еще были сильны революционные настроения трудящихся. В марте 1919 г. он срочно покинул Германию из-за грозящего ему приговора за революционную деятельность и недоговорно прибыл в Польшу.

В Варшаве Мархлевский установил связи с польскими коммунистами, действовавшими в подполье, информировал их о положении дел в Советской России и в свою очередь получил важные сведения о ситуации в Польше. Но главным для него было склонить ответственных представителей польского правительства к переговорам с Советской Россией. Определенную уверенность в успехе этих действий ему придавали возникшие в польском обществе опасения за сохранение независимости страны в связи с белогвардейским походом генерала Колчака, непреклонно стоявшего за «неделимость» прежней России и признанного странами Антанты в мае 1919 г. ее верховным правителем. В этих условиях предложение Мархлевского о переговорах было принято польской стороной. В июне он возвратился в Москву и информировал В. И. Ленина о своей мирной инициативе. Вскоре ему пришлось выехать в Польшу для участия в переговорах уже от имени Советского правительства.

Этот краткий и беглый обзор событий одного года из жизни Ю. Мархлевского дает представление о том, сколь интенсивной и разносторонней была его интернациональная деятельность, помогает глубже понять историко-политический контекст публицистических выступлений, отразивших его взгляды на важнейшие проблемы Октябрьской революции.

Свое отношение к одному из главных вопросов Октябрьской революции — о создании государства нового типа, осуществлявшего диктатуру пролетариата (здесь большевики более всего подвергались нападкам со стороны западной социал-демократии), — Ю. Мархлевский высказал в брошюрах «Что такое большевизм» и «Система Советов», написанных в последние дни пребывания в Германии для немецких рабочих, испытывавших громадный интерес к революции в России. Одно из достоинств этих работ состояло в том, что их автор никогда «не старался писать красиво, не выносил пышных фраз, самым главным он считал писать так, чтобы быть понятным массам, и эта черта объединяла его с Лениным» [4].

Автор показал закономерный характер Октябрьской революции, подготовленной всем ходом экономического и политического развития России и особенно кризисом, возникшим в годы первой мировой войны, охарактеризовал социально-политическую программу большевиков, направленную на уничтожение эксплуататорского строя, построение социализма, обеспечивающего благосостояние народа, расцвет культуры, подлинную демократию. Осуществление этих преобразований, подчеркивал Ю. Мархлевский, невозможно без разрушения буржуазной государственной машины и установления диктатуры пролетариата. При этом пролетарская

диктатура рассматривалась им как временное явление, необходимое на период перехода от капитализма к социализму. На начальном этапе революции ее совершенно четкая классовая направленность определила такие акты, как «экспроприация экспроприаторов» в городе и деревне, а последовавшее за этим сопротивление свергнутых классов потребовало лишения буржуазии избирательных прав, права выпускать газеты, устраивать собрания и т. д. В этом выразилась насильственная функция диктатуры, обусловленная законами революции и классовой борьбы, особенно суровыми в военных условиях, в которых оказалась Советская Россия. Главная суть новой государственной власти, подчеркивал Ю. Мархлевский, состоит в том, чтобы сделать основных тружеников страны хозяевами производства, обеспечить их решающее влияние на общественные дела, на внутреннюю и внешнюю политику государства, иначе говоря, создать демократию большинства народа, не достижимую в условиях любого буржуазно-демократического государства.

Как замечал Мархлевский, формы реализации новой власти всегда находятся в зависимости от сложившихся в стране условий. В России они определили организацию государственной власти в виде системы Советов, которая «в неслыханно трудных условиях, смогла противостоять всему враждебному миру, смогла ликвидировать хаос и в поразительно краткие сроки провести реформы, которые еще не мыслимы в „демократических“ государствах» [5, с. 679—680]. Общий вывод Мархлевского относительно установившейся в России власти гласил: «Признание же результатов современной революции равнозначно признанию диктатуры пролетариата и системы Советов» [5, с. 682].

Брошюры Мархлевского, содержавшие не только правдивую информацию об Октябрьской революции, но и ленинские идеи относительно социалистической революции, получили распространение во многих европейских странах.

С большим вниманием Мархлевский относился к проблемам экономического характера. С некоторыми из них он соприкоснулся во время работы в Центротекстиле.

В начавшей выходить в ноябре 1918 г. газете «Экономическая жизнь» были опубликованы две статьи Мархлевского, рассказывавшие о трудном положении в хлопчатобумажной промышленности. Оно создалось из-за отсутствия сырья, невозможности получить его в военных условиях из хлопководческих районов страны. Приходилось приостанавливать работу многих национализированных фабрик. По согласованию с Советом профсоюзов текстильщиков закрывались мелкие, плохо оборудованные, удаленные от дорог фабрики, рабочие которых еще продолжали иметь тесную связь с деревней [6, 1918, 16 XI]. На примере такого выхода из сложившейся ситуации Мархлевский показал, что одним из основных принципов нового управления производством при всех трудностях является неразрывность производственных и социальных задач. В статьях содержались и конкретные рекомендации по повышению выпуска хлопчатобумажной ткани. Предлагалось добиться широкого и ускоренного развития льняного производства и применить опыт Лодзинских текстильных фабрик по использованию лоскута, превратив тем самым хлопчатобумажное производство в безотходное. Автор также остановился здесь и на более общем вопросе о национализации промышленных предприятий, отметив в ее организации и проведении имевшие место сложности и просчеты [6, 1919, 1 I].

Третья статья «Централизация и децентрализация в нашей промышленности», также подкасанная опытом работы в Центротекстиле, была посвящена принципиально важной и к этому времени уже наболевшей проблеме — соотношению полномочий центральной и местной власти и их задач в деле налаживания производства. Появление двух тенденций в хозяйственной жизни Мархлевский связывал с революционной практикой. На первом этапе революции проявилась тенденция децентрализации. Она состояла в том, что «рабочие стремились стать хозяевами „своей“ фабрики». Затем в условиях экономической разрухи и военной

угрозы со стороны контрреволюции потребовало как можно быстрее упорядочить производство в интересах всей страны и армии. В связи с этим возникла другая тенденция — централизация. Созданные центры и Главки «стали гнуть палку в другую сторону, норовя управлять всем из центра» [6, 1918, 10 XI]. Между тем жизнь показывала, что каждое из этих начал важно для производства и ни одно из них не может обходиться без другого. Мархлевский призывал уделить особое внимание социалистической централизации, научной разработке ее, ибо для нее нет образца в исторической практике. Капиталистическая централизация для социализма не может служить безусловным примером. Он понимал большую трудность проблемы управления экономикой нового строя: «С этой задачей мы не скоро справимся, и, несомненно, наделаем еще много ошибок, переживем много горьких разочарований» [6, 1918, 10 XI]. Однако демократическая основа производственной жизни, основанной на самостоятельности и инициативе трудовых коллективов была для Мархлевского очевидной. Предостерегая от чрезмерной бюрократизации управленческого механизма, мелочной опеки со стороны центральных ведомств, он заметил, что «самый опытный администратор, который захочет управлять издали фабрикой, может только повредить делу...». В то же время самостоятельность предприятий, по мнению Мархлевского, отнюдь не исключала их связей с центральными органами по узловым, стратегическим вопросам развития производства.

Фиксируя внимание читателя на проявившемся в области управления национализированными предприятиями противоречии между двумя противоположностями — централизацией и децентрализацией, Ю. Мархлевский вслед за В. И. Лениным [3, т. 36, с. 152] видел его разрешение не в противопоставлении одного принципа другому, а в их разумном, диалектическом сочетании.

В наше время мы особенно можем оценить, сколь оправданно было внимание Мархлевского к вопросам управления, сколь верны его принципиальные замечания об этом важном факторе государственной и экономической жизни, как они созвучны ленинским мыслям о демократическом централизме, о самоуправляемых основах социалистического общества.

Еще более значительными по своей теоретической сути были статьи, касавшиеся организации экономической жизни в освобожденных от немецкой оккупации в конце 1918 — начале 1919 г. Белоруссии и Литве. В этих статьях автор, проявив заботу о рациональном ведении народного хозяйства на этих территориях, наметил главные общие линии их социально-экономического развития.

Сообразуясь с тем, что Белоруссия и Литва являются сельскохозяйственными районами, Ю. Мархлевский предлагал и дальше уделять основное внимание сельскому хозяйству, добиваясь его превращения в высокотоварное производство.

Промышленность в этих областях, по мнению автора, следовало развивать с учетом природных ресурсов, которые здесь недостаточны для создания крупных промышленных предприятий. Поэтому в первую очередь требовала внимания промышленность по переработке сельскохозяйственной продукции и другого местного сырья, прежде всего древесины. Далее Ю. Мархлевский высказывал мысль и неоднократно ее подчеркивал, что эти области могли бы делать значительные поставки на внешний рынок, но необходимо, чтобы в этом случае товар предлагался не в виде сырья, а в виде готовой продукции или полуфабрикатов. В связи с этим он набросал краткий план организации деревоперерабатывающей промышленности. В постановке этой задачи Мархлевский исходил из того, что пролетарскому государству необходимо заботиться об увеличении торговой прибыли, чтобы закупать как можно больше машин для восстановления разрушенного хозяйства. Он подчеркивал, что нужда в них особенно ощутима не только из-за разрухи, но и в связи с тем, что в России «определенные отрасли развивались чрезвычайно

быстро, другие отставали...». Отставание же наблюдалось главным образом в машиностроении [6, 1919, 1 I].

В статье ставился вопрос большой политической и экономической важности — об использовании в Белоруссии и Литве опыта социалистических преобразований, приобретенного в центральной России. В этом он также стоял на позициях В. И. Ленина, призывавшего вдумчиво относиться к использованию опыта, а не шаблонно применять его в любых условиях [3, т. 36, с. 152]. Анализируя социально-экономическую ситуацию в Советской Литовско-Белорусской республике, Мархлевский выявил ряд особенностей, не свойственных центральным районам. Специфика состояла в том, что здесь рабочий класс трудился, главным образом, на мелких предприятиях, в городах был очень многочисленный слой мелкой буржуазии, сельское хозяйство отличалось более высоким уровнем капиталистического развития, национальный состав населения — сильной пестротой, угрожавшей при неблагоприятных условиях вызвать национальную вражду, наконец, люди сильно пострадали от военных грабежей. На этом основании автор статьи предлагал отказаться от того стереотипа мер по переустройству общества, который сложился в центральной России, как, например, уравнительное землепользование, национализация мелкой частной торговли и т. д. По его мнению, в освобожденных районах следовало провести подготовительные мероприятия, которые, не внося коренной ломки экономической жизни, не отталкивая от новой власти своеобразного по социальному составу населения, постепенно подводили бы его к новым формам экономических отношений. Мархлевский подчеркивал, что «хозяйственная жизнь есть именно жизнь, а жизнь ломать не следует без настоятельной необходимости», важно «вводить реформы, приспособляясь к данным местным условиям, ... чутко прислушиваться к нуждам и требованиям населения» [6, 1918, 28 XII].

Свое неприятие «скоропалительных» преобразований Ю. Мархлевский выразил также в статье «Аграрный вопрос в Польше». В ней отмечалось, что «аграрный вопрос будет одним из революционных факторов громадной важности», поэтому при разрешении его необходимо строго учитывать своеобразие условий в польской деревне, сложившиеся традиции земельного пользования и т. д. Признавая неизбежность обращения к опыту страны Советов, автор вместе с тем стремился обозначить разумные пределы его использования на своей родине. С этой целью он наметил даже несколько пунктов «для законодательства пролетарской власти в области земельных отношений в Польше» [6, 1918, 21 XI]. Настаивая на недопустимости вколачивать «насиленно жизнь в формулы, выработанные при других условиях», Мархлевский исходил из теоретического положения о том, что «...диктатура пролетариата не является мертвящей формулой, ... она применима в разных формах» [6, 1918, 28 XII].

Приведенные высказывания Ю. Мархлевского наглядно показывают, что он не разделял позиции «левых коммунистов», начавших со времени заключения Брестского мира обвинять «большинство коммунистов в том, что они гасят революционный дух пролетариата, приспособляют революцию к уровню крестьянских интересов и слишком медлительны в осуществлении социализма» [7, 30 VII]. Он всецело поддерживал коммунистов-ленинцев, тактика которых строилась на учете реального положения вещей и реального соотношения сил, ибо понимал, что экономика не может перестраиваться так же стремительно и внезапно, как политический строй.

Значительное место в деятельности Ю. Мархлевского заняли вопросы внешней политики молодой Советской республики. Многие статьи позволяют судить о его позиции в отношении «самого существенного опыта» советского государства, связанного с Брестским миром [3, т. 38, с. 48].

Косвенное представление об этом можно получить из цикла статей, посвященных Германии [8]. Мархлевский показал, что ее экономическое положение с каждым днем продолжающейся войны становится все более критическим, социальное расслоение в городе и деревне идет ускоренным

темпом, классовые противоречия все более обнажаются. Отмечая, таким образом, созревание внутренних предпосылок революции в Германии, Мархлевский тем не менее не считал возможным предсказывать точные сроки ее наступления, т. е. он не включил назревавшую революцию в Германии в число уже действующих политических факторов, в чем и проявилось его понимание ленинской политики Брестского мира.

В статье «Катастрофа германского империализма» [6, 1918, 6 XI], написанной в первые дни германской революции, Мархлевский отметил, что Брестский мир стал «петлей», задушившей германский империализм. Он также подчеркнул, что Брестский мир спас Советскую Россию, а это имело огромное значение для борьбы мирового пролетариата за свое освобождение и для международных отношений, ибо только пролетарская республика способна противостоять слогворам империалистических стран по установлению своего господства над другими странами и народами. В другой своей работе он отметил непреходящее значение советской политики мира: «Брестский мир был поворотным пунктом в мировой истории. В то время, как рабочие массы всех воюющих стран в своем подавляющем большинстве были еще охвачены империалистическим угаром и позволяли себя использовать для взаимной резни, русские рабочие под руководством большевиков подняли знамя братства народов и социализма» [5, s. 701].

Следует заметить, что признание Мархлевским политики Брестского мира выразилось и в его практических действиях — в мирной инициативе по отношению к Польше. Его предложения польскому правительству о переговорах с Советской Россией в тот момент, когда она находилась в плотном кольце контрреволюционных сил, а у Польши четко обозначилась возможность конфликта с белой Россией, и затем его участие в самих переговорах, целью которых Советское правительство считало заключение мира даже ценой значительных территориальных уступок польской стороне, свидетельствовали о том, что им всесторонне были осмыслены многогранные ленинские идеи, воплощенные в брестской политике. В своих действиях он руководствовался ленинскими положениями о необходимости рассчитывать соотношение сил империализма и социализма на данном этапе, об использовании конфликтов и противоречий между империалистическими странами, о возможности компромиссов с буржуазным правительством, если они не затрагивают социально-политических основ Советской власти, а также о соответствии советской мирной политики интересам трудящихся всех стран, о долге революционеров защищать первое социалистическое государство, наконец, о том, что задачей советской внешней политики является не форсирование и «подталкивание» мировой революции, а обеспечение условий для проведения внутри страны социально-политических и экономических преобразований, способных укрепить власть пролетариата.

О глубоком проникновении в суть внешнеполитических принципов Советского государства, сформулированных В. И. Лениным, свидетельствуют взгляды Ю. Мархлевского на проблемы советско-польских отношений, позиция, которую он занял в польском вопросе в связи с образованием буржуазного Польского государства.

В своих трудах Мархлевский затронул очень важный вопрос — о воздействии Октябрьской революции на национальное освобождение угнетенных народов, осветив его на примере восстановления независимости Польши.

В ноябре 1918 г. было воссоздано Польское государство, в котором, несмотря на революционный подъем масс, к власти пришли эксплуататорские классы. В самом начале 1919 г. по поводу освобождения Польши Ю. Мархлевский писал: «Польша сейчас свободна от чужеземного ига и останется свободной» [6, 1919, 10 I]. В этом утверждении не просто констатировался факт восстановления польской государственности, но и подчеркивалась необратимость этого исторического явления. В отличие от Мархлевского многие другие польские коммунисты продолжали придерживаться прежней теоретической схемы, разработанной Р. Люксембург, согласно которой считалось, что существование буржуазного

Польского государства в связи с грядущей мировой революцией бесперспективно.

Признав закономерность самоопределения польской нации, Мархлевский обратился к выяснению вопроса о том, какие внешние факторы способствовали этому событию. Его интерес к ним определялся тем, что реализация вековых стремлений польского народа к свободе находилась в большой зависимости от политики Австрии, Германии и России, разделивших Польшу. Анализируя международную ситуацию во время первой мировой войны и после Октябрьской революции, Мархлевский пришел к выводу, что до Октябрьской революции ни одно из государств, разделивших Польшу, не стремилось к созданию самостоятельного польского государства, объединяющего все исконные польские земли. Не имели в этом вопросе непосредственной заинтересованности и западные державы, считавшие, что польский вопрос находится в компетенции царской России. И только благодаря социалистической революции, ее национальной политике, основанной на признании за всеми народами права на самоопределение, коренным образом изменилась политика России по отношению к Польше. Советское правительство первым среди правительств других стран заявило о праве польского народа на независимое национальное существование и определение своей политической судьбы. Установление Советской власти в России создало благоприятные условия для признания независимости польского народа и на международной арене. Перестав видеть в России свою союзницу, страны Антанты перешли к рассмотрению польского вопроса с позиций собственных интересов. Заинтересованные теперь в создании Польши, противостоящей революционной России, они в январе 1918 г. также высказались за независимость польского народа. Наконец, Октябрьская революция оказала существенное влияние на вызревание совершившихся в ноябре 1918 г. революций в Германии и Австро-Венгрии. Поражение Центральных держав в войне создало польскому народу условия для довольно мирного освобождения своих земель от австро-германских оккупантов, подчинивших себе в 1915 г. все польские территории. Так, проследив в сложном переплетении событий, явлений и политических тенденций в международной жизни решающую роль Октябрьской революции в восстановлении польской независимости, Мархлевский выдвинул тезис: «Пролетарская революция в России положила конец национальной неволе польского народа, она сделала возможным восстановление польской независимости» [9].

Одно из условий прочного существования самостоятельной Польши Мархлевский видел в установлении ее границ в соответствии с критическим осмыслением исторического прошлого польского народа и учетом социально-политических реалий XX в. Он первым из польских коммунистов уделил внимание этому вопросу, когда из дипломатических нот, направленных Советскому правительству в конце 1918 г., стало ясно, что польское правительство в отношении восточной польской границы мыслит категориями XVIII в. В статье «Будущее Польши в экономическом отношении» Мархлевский предложил очертания основных линий польских границ с учетом права на самоопределение живущих по соседству с поляками народов. На этом основании из состава Польши им исключались земли Белоруссии, Украины и Литвы, хотя он и отмечал, что из-за большой национальной смешанности населения на пограничье провести границу в строгом соответствии с этническим принципом очень не просто [6, 1919, 11 л].

Мархлевский подверг серьезной критике лозунг границы 1772 г., выдвигавшийся польскими господствующими классами. Он убедительно доказал, что такое требование, предусматривавшее аннексию территорий соседних народов, выражало сугубо эгоистические интересы этих классов, игнорировало как уроки исторического прошлого, связанные с упадком прежней Речи Посполитой, так и освободительные стремления народов Белоруссии, Литвы, Украины, усилившиеся в результате победы Октябрьской революции. Поэтому попытки насильственного присоеди-

нения к Польше упомянутых земель создавало бы опасность для самой польской государственности. Мечты о границе 1772 г., предостерегал Ю. Мархлевский, «не только несбыточны, но и вредны: Польша в таком составе была бы разрываемая самой тяжелой национальной борьбой, которая оказалась бы роковой для польского народа» [6, 1919, 10 I].

Теми же принципами Мархлевский руководствовался при решении вопроса о западной границе. Основываясь на собственных солидных научных исследованиях относительно западных польских земель, входивших в состав Германии, он утверждал бесспорное сохранение ими национального характера, ярко проявлявшегося в социально-политической жизни. Факт высокого уровня национального самосознания у проживавших здесь поляков он считал важным условием включения западных польских земель в состав Польского государства. По его мнению, это способствовало бы развитию демократических тенденций как в Германии, так и в Польше. Однако он указывал, что в условиях существования буржуазных порядков в обеих странах неизбежны военные конфликты на западной границе. Дальнейшие события в германо-польских отношениях подтвердили это предвидение.

Разработанные Мархлевским концепции о значении Октябрьской революции для восстановления независимости Польши и о ее границах, прежде всего восточной, имели важное значение для советско-польских отношений, служили верным ориентиром для их формирования и одновременно критерием соответствия политики каждой из стран коренным интересам своих народов.

Советская Россия, как отмечал Мархлевский, задолго до образования Польского государства провозглашая право народов на самоопределение составной частью своей внутренней и внешней политики, превратилась в естественного союзника независимой Польши. В силу принципиальных установок на мирные отношения со всеми народами, а также конкретно-исторических условий своего существования Советская республика стремилась к налаживанию добрососедских отношений с Польшей, что неоднократно подтвердила в своих предложениях по мирному урегулированию всех спорных вопросов.

Польское же правительство с первых дней своего существования отказывалось от нормализации дипломатических отношений с новой Россией и, кроме того, как замечал Мархлевский, явно стремилось «вызвать конфликт» с ней [7, 26 XII]. Причины такой позиции были связаны «с совершенно ясными классовыми тенденциями» правящих кругов Польши. Образование Советской Литовско-Белорусской республики на территории, освобожденной от немецкой оккупации, грозило положить здесь конец господству польских помещиков над местными рабочими и крестьянами. Вследствие этого претензии на присоединение к Польше земель соседних с ней народов определили главное содержание польской восточной политики. Мархлевский предвидел неизбежность открытия польской армией военных действий против Советской Литвы и Белоруссии. В феврале 1919 г. польские войска без объявления войны вторглись на территорию этой республики. Советская сторона, «желая избежать кровопролития» тотчас обратилась к польскому правительству с предложением мирным путем решить спорные вопросы, но ответа не получила. Правительство Пилсудского встало на путь войны и возвело ее в ранг государственной политики в отношении Советской страны. С этого времени, как отмечал Ю. Мархлевский, центральной проблемой советско-польских отношений становится решение альтернативы: война или мир.

Анализ Мархлевским начатой Ю. Пилсудским военной политики, приведшей к значительным захватам на востоке, показал, однако, что эта политика не способствовала созданию сильного Польского государства, а, напротив, вела к ослаблению его экономики и политических позиций, к осложнению социальной обстановки внутри страны, возрастающей зависимости ее от других капиталистических стран.

Неоправданность этой политики становилась еще более очевидной в условиях постоянного поиска Советским государством путей к мирному

урегулированию отношений и готовности заплатить за мир высокую цену, идя на территориальные уступки. Во второй половине 1919 г. оно выступило с вышеупомянутой мирной инициативой (результатом ее стала временная приостановка военных действий польской стороной на польско-советском фронте), затем в конце года и в течение трех месяцев 1920 г. провело энергичную дипломатическую кампанию за установление отношений между обоими государствами на основе принципа мирного сосуществования. Мархлевский считал необходимым и важным вести такого рода борьбу за мир. Он отмечал, что все это время объективные условия складывались в пользу мирного развития советско-польских отношений. Польское же правительство в отличие от Советского правительства пренебрегло ими, действуя во имя узкоклассовых интересов буржуазно-помещичьих кругов. Оно сорвало намечавшиеся в конце марта переговоры, а 25 апреля польские войска перешли в наступление в направлении Киева. Это положило начало следующему, новому этапу войны — теперь вопрос о мире мог быть решен только вооруженной силой. Если Советская Россия не справится быстро с польским нашествием, отмечал Ю. Мархлевский, то ее положение может серьезно осложниться. Чтобы избежать этого, необходимо нанести «ослепленной армии польских контрреволюционеров» быстрые и чувствительные удары [10, 1920, 18 V].

Вскоре началось успешное наступление Красной Армии, польские войска отступали. «В погоне за неприятелем» она дошла до Вислы и «угрожала Варшаве». Мархлевский неоднократно подчеркивал, что только «в силу военной необходимости Красная Армия должна была вступить на польские земли» [11, с. 20, 21]. За этим ни в коей мере не стояло стремления к «насаждению коммунизма посредством русских штыков». Присутствие советских войск на территории Польши повлекло за собой осуществление ряда революционных социально-политических мероприятий, которые были неизбежны, как отмечал Ю. Мархлевский, в условиях, когда «война ведется между двумя государствами различных социальных типов» [11, с. 42]. Продвижение Красной Армии к Варшаве выдвигало необходимость создания на польской земле такого органа власти, который способствовал бы нормализации жизни польского населения, оказал бы ему помощь в деле социального освобождения от эксплуататорских классов, втянувших его в бессмысленную, авантюристическую войну против Советской России. В связи с этим 30 июля в Белостоке был создан Временный революционный комитет Польши (Польревком) во главе с Мархлевским. В него вошли такие известные деятели польского рабочего движения, как Ф. Дзержинский, Ф. Кюн, Э. Прухняк, Ю. Уншлихт. Возглавляя Комитет, Мархлевский получил возможность практически использовать опыт Октябрьской революции в польских условиях. Это выразилось прежде всего во внимательном отношении к национальному вопросу. В воззваниях Комитета подчеркивалось, что его целью является создание независимой, самостоятельной польской республики, не входящей в состав Советской России, что Красная Армия, разгромив военного противника, покинет Польшу. Наряду с этим отмечался временный характер существования Польревкома, обязательная смена его в дальнейшем правительством, избранным народом. Практическими действиями комитета — национализацией фабрик, возобновлением на них производства, вниманием к развитию просвещения и культуры — Мархлевский стремился завоевать доверие народных масс к революционной власти. Не были обойдены вниманием Польревкома и польские крестьяне. Однако декрет о наделении их землей за счет помещичьих имений не был издан. Последовавшее в августе 1920 г. быстрое отступление Красной Армии сделало невозможным дальнейшее существование Польревкома, прослужившего польскому народу всего лишь двадцать два дня.

Мархлевский причины поражения Красной Армии усматривал в военно-стратегических просчетах ее командования, считая выяснение этих причин задачей военных специалистов.

Начавшиеся во второй половине августа в Минске советско-польские переговоры о мире, на которые польское правительство пошло только

под воздействием мощного удара Красной Армии («лишь решительное поражение „смогло“ образовать польскую буржуазию и отрезать ее от военного опьянения» [12]), были продолжены и после отступления советских войск, но теперь польские представители старались усложнить и затруднить их. Однако, несмотря на это, 12 октября 1920 г. был подписан preliminary, а в марте 1921 г. — окончательный мирный договор между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей — с другой.

Его условия являлись результатом компромисса, на который были вынуждены пойти оба государства. К анализу значения Рижского мира для каждой из подписавших его сторон Ю. Мархлевский подошел с позиций соотношения внешнеполитических целей каждого государства с результатами этого договора. Это позволило установить, что Советское государство, несмотря на территориальные потери, достигло своей главной цели — сохранения социалистического строя и мира, обеспечивавшего ей значительные перспективы в развитии.

Польские правящие круги, развязав войну против Советской России, стремились провести восточную границу Польши по линии границы 1772 г., установить польскую гегемонию в Восточной Европе, усложнить положение Советской России, подавить революционное движение внутри своей страны. Подписанием Рижского договора они не добились ни одной из этих целей. Приращение же Польшей инациональных территорий не могло привести к укреплению Польского государства, к его стабилизации. Все это доказывало неоправданность и близорукость военной стратегии Ю. Пилсудского.

Сущность нового мирного периода, наступившего после подписания договора, Мархлевский видел не только в политической нормализации отношений, но и в развитии экономических связей между Польшей и Советской Россией [6, 1919, 11 I]. Во-первых, потому, что социалистический строй России не исключает, а, наоборот, предполагает установление широких международных экономических связей [13], а, во-вторых, — сохранение и развитие исторически сложившегося товарообмена между этими странами весьма выгодно для них обеих.

Рассмотренные публицистические работы видного деятеля польского рабочего движения показывают, что сложные проблемы Октябрьской революции находились в центре его внимания. Он решал их в комплексе, руководствуясь марксистской методологией, был последовательным сторонником Ленина во взглядах на новую политическую систему, принципы экономических преобразований, национальной и внешней политики пролетарского государства. Идеи Ленина встречали живой отклик у Мархлевского и нередко получали конкретно-практическую интерпретацию. Таким образом, Октябрьская революция закрепила идейную общность польского революционера и патриота с В. И. Лениным.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Marchlewski J.* Listy do Stefana Zeromskiego i Władysława Orkana. Kraków, 1953, s. 136.
2. Центральный Государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР, ф. 1235, оп. 35, д. 2, л. 5, 10.
3. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.
4. ЦИА ИМЛ, ф. 143, оп. I, д. 165, л. 6.
5. *Pisma wybrane*, t. II. Warszawa, 1956.
6. *Экономическая жизнь.*
7. *Правда*, 1918.
8. *Известия*, 1918, 22 VIII, 18 IX, 6 X, 8 XI.
9. *Мархлевский Ю.* Польский вопрос и Октябрьская революция. — *Жизнь национальностей*, 1923, № 1, с. 230.
10. *Групаи Komunistyczna*, Moskwa, 1920, 18 V.
11. *Мархлевский Ю.* Война и мир между буржуазной Польшей и пролетарской Россией. М., 1921.
12. *Мархлевский Ю.* Мир с Польшей. Коммунистический Интернационал, 1920, № 14, стб. 2752.
13. *Мархлевский Ю.* Предисловие. — В кн.: *Карл Баллод.* Государство будущего. Перевод с немецкого. М., 1920, с. IV.



ГРИГОРЬЯНЦ Т. Ю.

ЗАПАДНОГЕРМАНСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 50—60-х ГОДОВ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ФРГ СО СТРАНАМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

На формирование и развитие западногерманской исторической науки в огромной степени оказали влияние политическая атмосфера, сложившаяся в Западной Германии в первое послевоенное десятилетие.

Возникновение западногерманского государства в условиях, когда западные державы проводили в отношении СССР и других социалистических стран политический курс, получивший название «холодной войны», в значительной степени определило его принципы и цели, а также его внешнеполитическую линию. Во главе Федеративной Республики встали консервативные политические силы, среди которых решающую роль играли христианско-демократические партии. Их политические программы с самого начала строились на непризнании результатов разгрома фашистской Германии в 1945 г. и в первую очередь решений, зафиксированных в Потсдамском и Ялтинском соглашениях.

В своем первом правительственном заявлении в бундестаге 20 сентября 1949 г. федеральный канцлер К. Аденауэр заявил о непризнании Федеративной Республикой решений Ялты и Потсдама и границы по Одру — Нейссе [1, S. 28—29]. В правительственном заявлении по поводу создания второго германского государства — Германской Демократической Республики, сделанном 21 октября 1949 г., К. Аденауэр изложил главные принципы агрессивной и враждебной западногерманской политической стратегии в отношении европейских социалистических стран. Она исходила из претензии Федеративной Республики на единоличное представительство интересов всей Германии в международных отношениях, отказа от международноправового признания Германской Демократической Республики, трактовки Западного Берлина как «федеральной земли», относящейся к ФРГ. Целью сепаратного западногерманского государства провозглашалось объединение всей Германии и включение ее как единого целого в «западную систему» [1, S. 308—309].

Уже в 1945 г., еще до пресловутой речи У. Черчилля в Фултоне, К. Аденауэр выдвинул тезис о разделе мира на два блока и «расколе Европы». В письме от 31 октября 1945 г. он писал: «Раздел на Восточную Европу, русскую область, и Западную Европу — стал фактом» [2, S. 39]. Оценивая международные отношения с позиций непримиримого антикоммунизма и антисоветизма, К. Аденауэр, вначале как глава Христианско-Демократического Союза (ХДС), а после создания сепаратного западногерманского государства в качестве его канцлера, убеждал западных немцев в существовании «советской угрозы», намерениях Советского Союза «поглотить всю Германию», «советизировать» ее и т. д.¹ К. Аденауэр

¹ Довольно «справый» публицист В. Хенкельс писал об Аденауэре: «Консервативные представления о всех формах и явлениях жизни были у него в крови» [3, S. 18].

стремился во что бы то ни стало спасти капиталистический строй в западной части страны, интегрировать эту часть Германии в систему западных военно-политических союзов. Отсюда — появление идей «объединенной Европы», «единства Европы», «европейской общности». Под Европой подразумевалось не столько географическое понятие части света, а, скорее, понятие духовной общности, включающей в себя целый комплекс, в том числе наследие греко-римской античности, католического средневековья, германо-романской правовой традиции в географических рамках западной части европейского континента. Опираясь на объединенную мощь Запада Аденауэр намеревался затем «вытеснить СССР из Европы» и реставрировать старые капиталистические порядки на всей территории Германии. Он последовательно осуществлял курс на раскол Германии и Европы, «...раньше всех других политиков и бескомпромисснее, чем все другие политики, выступил за образование сепаратного западногерманского государства, связанного тесными узами с Западом, Аденауэр» — писал западногерманский историк Пауль Ноак [4, S. 23].

Конкретные внешнеполитические задачи, выдвинутые К. Аденауэром, сводились к следующему: установление теснейшего сотрудничества с западными державами, «примирение» с Францией, создание «объединенной Европы» и Европейского оборонительного сообщества, «вклад в общую оборону». Выступая за сколачивание блока западных держав и интеграцию западной части Германии, по его убеждению, «материально и духовно» принадлежащей к «западной цивилизации», Аденауэр яростно противился любой форме «нейтрализации Германии»², отстаивал «раздел», «раскол» Европы. Он относил к Европе лишь западную часть континента, а «восточноевропейские» страны считал принадлежащими к «другому миру». Раскол Германии и Европы К. Аденауэр оправдывал намерением «спасти Германию от поглощения Советским Союзом». «Будущее Германии он связывал только с тесным союзом с Западом», — подчеркивал П. Ноак [4, S. 23].

В этой политической атмосфере определилось несколько направлений в исторической науке Западной Германии. Наиболее заметное место заняло официальное направление, ядро которого составили довольно многочисленные историки старой реакционной прусской школы, наиболее крупным представителем которой был Г. Риттер [6; 7; 8] и «остфоршеры» старого поколения, работавшие еще при нацистах. Взгляды официального направления разделили многие буржуазные ученые школы Х. Ротфельса [8, с. 165—181].

В итоге на формирование официального направления в западногерманской историографии оказали влияние несколько факторов: консервативное давление старой прусской исторической традиции, непреодоленное нацистское прошлое в умонастроениях ряда немецких историков, работавших при гитлеровском режиме, и, наконец, внешнеполитические концепции ведущих государственных деятелей Федеративной Республики, руководящих функционеров правящих христианско-демократических партий, и в первую очередь К. Аденауэра. Сформулированная им внешнеполитическая доктрина носила сугубо классовый характер, отражавший интересы германской монополистической буржуазии и консервативных политических сил. Поэтому для официального направления 50—60-х годов был свойствен подход к международным проблемам новейшего времени, определявшийся прежде всего воинствующим антикоммунизмом, игнорированием политических реальностей, сложившихся после окончания второй мировой войны, подход, рассчитанный на пересмотр ее итогов. Историки официального направления рассматривали раскол страны, включение западногерманского государства в «европейскую общность», «объединен-

² В книге Р. Штайнигера «Шанс на воссоединение?» на основе неопубликованных ранее американских и английских документов приводятся доказательства того, что К. Аденауэр выступил яростным противником советских предложений по германскому вопросу в марте 1952 г. «Упущенным шансом» на реальное воссоединение Германии называет автор негативную реакцию федерального правительства на советские предложения в марте 1952 г. [5, S. 73—75].

ную Европу» как наиболее приемлемое решение для спасения в западной части Германии капиталистического строя.

Х. Ротфельс писал: «В сравнении с Потсдамом, о котором некоторые говорят, как об „упущенной возможности“ и к которому советуют вернуться, апеллируя к ответственности четырех держав, раздел был не самым худшим, что могло бы произойти в 1945 г. и в последующие годы, не наихудшим как с немецкой, так и с европейской точек зрения» [9, S. 250].

Возникшее сепаратное западногерманское государство многие историки этого лагеря оценивали как «барьер против коммунизма», «плотину» против коммунизма, т. е. своего рода санитарный кордон для защиты «западного мира» от «коммунистической угрозы». Раскол Германии и создание Федеративной Республики они рассматривали как следствие советской политики в Восточной Европе и тех изменений, которые происходили в народно-демократических странах. Довольно распространенным в кругах историков официозного направления было мнение, что созданию ФРГ дали толчок такие политические события, как «переворот в Праге в феврале 1948 г. и блокада Берлина».

Примерно в это же время в рамках официозного направления выделилось «правое», крайнее крыло. Если выразители официозного направления утверждали, например, что США и Англия проводили в отношении стран Центральной и Восточной Европы политику, направленную на защиту их «свободы», а Советский Союз «сорвал» позднее их усилия, то представители «ревизионистов справа» утверждали, что США и Англия «предали» интересы этих стран и «помогли большевизму одержать тотальную победу», не защитив их перед лицом Советского Союза [10, S. 283]. Это была критика справа политики Соединенных Штатов и Англии, не нашедших якобы правильного соотношения между краткосрочными и долгосрочными целями во второй мировой войне. Такая критика в адрес западных держав была характерна и для самого К. Аденауэра, упрекавшего их в «попустительстве» Советскому Союзу. Происшедшие на Востоке Европы общественно-политические изменения и возникновение народно-демократических государств они интерпретировали как «потерю», «продажу» Европы. Утверждалось, что приняв требование о безоговорочной капитуляции Германии, западные державы «поддержали большевизм», не «потребовав взамен никаких обязательств». Заняв позицию стороннего наблюдателя в момент, когда создавались народно-демократические режимы, они сами себя исключили из большей части Европы и вследствие их «попустительства» восточноевропейские страны стали социалистическими [11, S. 24—25; 10, S. 284; 12, S. 254; 13, S. 130]. Ф. Гаузе, историк из Геттингенского рабочего кружка, писал: «Если сегодня весь Восток от Финляндии до Средиземного моря находится под большевистским господством, то этому помогли западные державы» [10, S. 283]. Крайне реакционные реваншистские круги концентрировались в Исследовательском совете и Институте им. И. Г. Гердера в Марбурге (созданы в апреле 1950 г.), а также в Гёттингенском рабочем кружке (создан в ноябре 1946 г.). Их задача заключалась в «научной» разработке концепций агрессивной и реваншистской политики в отношении социалистических стран.

В начале 60-х годов стало заметным еще одно течение, также возникшее в рамках официального направления. Для его представителей внешнеполитические концепции К. Аденауэра оставались классическим наследием. Однако они обладали большей гибкостью во взглядах и оценках.

Во внешнеполитической практике выразителем взглядов такого рода стал тогдашний министр иностранных дел Г. Шрёдер. Именно с его именем, по мнению Х. А. Якобсена, с 1962 г. были связаны «новые импульсы» в «восточной и германской политике ХДС/ХСС» [14, S. 339]. Шрёдер хотя и не собирался отступать от претензий на единоличное представительство Федеративной Республикой интересов всей Германии, выступил за то, чтобы «не столь твердо, как в прошлом, придерживаться доктрины Хальштейна». «Всем, кто привык к непримиримому тону К. Аденауэра в отношении восточноевропейских государств, заявление Шрёдера летом

1962 г. должно было показаться возможным поворотным пунктом» [14, S. 339]. Эти воззрения проявились как в исторических, так и в публицистических работах, в частности, в книгах Денхоф «Федеративная Республика в эру Аденауэра. Критика и перспективы» [15] и «Немецкая внешняя политика от Аденауэра до Брандта» [16]. Выступая за нормализацию отношений с Советским Союзом и другими социалистическими странами, она считает, что если в этом направлении и были достигнуты успехи, то благодаря тому, что предпосылки были созданы предшествующей политикой К. Аденауэра, в частности, политикой интеграции с атлантическим Западом.

В 50-х — начале 60-х годов наряду с господствующим официальным направлением заявило о себе течение, которое в американской и английской историографии именовалось «новыми ревизионистами» (его можно назвать и реально-политическим или либерально-критическим), выступившее за пересмотр прежних политических концепций, заведших мир в тупик «холодной войны» и не суливших успеха в будущем.

Уже в конце 50-х годов стрелка барометра международной обстановки стала склоняться в сторону разрядки. Наметилось некоторое сближение западных держав и социалистических стран в подходе к решению проблемы Западного Берлина. В результате Женевского совещания (11 мая — 20 июня 1959 г. и 13 июля — 5 августа 1959 г.), на котором возобновилось обсуждение германских дел четырьмя великими державами, выросло понимание бесперспективности политики с позиции силы, начался пересмотр многих догм «холодной войны», а, главное, западные державы признали де-факто существование ГДР. К началу 60-х годов стало очевидно, что осуществление внешнеполитической доктрины К. Аденауэра завело Федеративную Республику по пути «холодной войны» слишком далеко. Время показало ее несостоятельность. Претензии ФРГ на единичное представительство интересов всей Германии обнаружили полную беспочвенность. Сорвалась попытка изолировать при помощи «доктрины Хальштейна» Германскую Демократическую Республику, внутриполитическое положение которой упрочилось, а внешнеполитические связи расширялись с каждым годом. Крах этого курса в полной мере проявился в ходе берлинского кризиса 1961 г. Меры, предпринятые ГДР по охране своей государственной границы, перечеркнули расчеты Федеративной Республики распространить свои порядки на всю Германию и таким образом «решить германский вопрос». Соотношение сил на мировой арене неуклонно менялось не в пользу сторонников «холодной войны». Обнаружилась оторванность от жизни всей аденауэровской внешнеполитической концепции и это сразу сказалось на внутриполитической жизни ФРГ: на парламентских выборах 1961 г. блок ХДС/ХСС, с момента создания Федеративной Республики правивший страной, впервые потерял абсолютное большинство в парламенте. Все эти обстоятельства положили конец безраздельному господству в стране реваншистских настроений и унификации политического и исторического мышления.

В самом начале 60-х годов появились работы Г. Манна [17]; К. Ясперса [18], Х. Раша [19] и др. Книга последнего «Федеративная Германия и Восточная Европа» оказала сильное воздействие на общественность ФРГ, на публицистов и историков, стимулировала появление новых исследований, учитывающих политические реальности. Х. Раш писал, что «необходимо покончить с комплексом антикоммунизма», прийти к разумному соглашению с СССР, отказаться от доктрины Хальштейна, которая привела к углублению раскола Германии и способствовала изоляции не ГДР, а Федеративной Республики, признать ГДР и границу по Одеру — Нейссе.

Длительное время в западногерманской исторической литературе отношения ФРГ с социалистическими странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы практически не рассматривались. Эта тема игнорировалась или возникала как побочная. В первые послевоенные годы и позднее, примерно до конца 60-х годов, в основном рассматривались отношения Западной Германии с Советским Союзом или политика

СССР в германском вопросе. Западногерманские историки занимали позицию «непризнания» других социалистических государств в качестве равноценных участников европейской политической жизни. Отражая точку зрения правящих кругов ФРГ, официозные западногерманские авторы не делали «ни малейшей попытки рассмотреть движущие силы народно-демократических революций, проанализировать объективные условия возникновения революционных ситуаций в отдельных странах. Проблемы, связанные с появлением новых социалистических государств после второй мировой войны и построением социализма, объединялись под общим понятием «советизация». Распространению и утверждению этого термина в официозной историографии, превращению его в почти стереотипное понятие в огромной мере способствовал К. Адепауэр [2, S. 51, 95, 375—376, 583, 588]. В 1950 г. появилась книга О. Лемберга «Восточная Европа и Советский Союз. История и проблемы находящегося за железным занавесом мира» [20]. В 1955 г. появилась статья К. фон Майдела «Политическая советизация Восточной Европы» [12]. В 1956 г. вышла на немецком языке книга англичанина Х. Ситон-Уотсона³ «Восточноевропейская революция» [22], по оценке западногерманского историка В. Дипентала, — попытка «набросать обобщенную картину политического переустройства Восточной Европы» [23, S. 10]. В 1959 г. была издана под редакцией Э. Бирке и Р. Ноймана книга «Советизация Центральной и Восточной Европы. Исследование этого процесса в отдельных странах» [24]. В предисловии к ней издатель утверждал, что модифицированным проявлением традиционной русской политики, «дальнейшим шагом в вековом продвижении России на Запад» явилась «советизация зоны, простирающейся от Балтийского моря до Балкан». Она-де несет угрозу уничтожения европейской цивилизации, имея целью «исключить эти области из их старых западно- и средневропейских связей и подчинить их советской империи материально и духовно». [24, S. 1, 2, 14, 18]. Ими был даже придуман термин «деевропеизация». Понятие «советизация» использовалось для доказательства «экспорта советской системы» в восточноевропейские государства, «революционизирования общества» в этих странах по «советскому образцу», «советизации их внутренней жизни», и, наконец, «подчинения» внешнеполитического курса Советскому Союзу [10; 11; 13; 25; 26; 27]. Примером такого схематического подхода к историческим событиям может служить книга видного, но весьма реакционного по взглядам западногерманского историка Х. П. Шварца «От империи к Федеративной Республике». В ней он рассматривает политику Советского Союза в первые послевоенные годы именно с позиций пресловутой теории «советизации», утверждая, что «Восточно-европейские государства должны были в любом случае образовать широкий пояс вдоль советской западной границы. Потенциальным противником могли быть либо вновь возрожденная Германия, либо другие капиталистические страны». С целью гарантировать безопасность этих территорий, продолжает автор, — Советский Союз и предпринял в этих странах «революционизирование общества по советскому образцу» [25, S. 211].

Таким образом отрицалась политическая самостоятельность социалистических государств, возникших после второй мировой войны, их важная роль в международной жизни. До конца шестидесятых годов западногерманская официозная историография рассматривала страны Центральной и Юго-Восточной Европы в качестве «сателлитов» и «вассалов» Советского Союза, подменяя этим анализ их внешнеполитического курса, и отказывая им в праве иметь собственную, учитывающую их национально-государственные интересы политику, и прежде всего, в германском вопросе. Совершенно не учитывался факт, что с самого начала существования социалистические страны играли важную роль в политической жизни европейского континента и вносили немалый конструктивный вклад в справедливое решение германского вопроса [28; 29; 30; 31].

³ Подробно об этом авторе и его концепциях см. [21].

Авторы официального направления оказались неспособными понять закономерность согласованных совместных действий социалистических государств в вопросе урегулирования германских дел, не видели объективных предпосылок единства формировавшегося социалистического сотрудничества. Политика западных держав, взявших курс на раскол Германии и создание сепаратного западногерманского государства, активная внешнеполитическая деятельность социалистических стран, направленная на противодействие этому курсу, не стали предметом исследования. Единство действий стран социализма в решении многих международных проблем трактовалось как отсутствие у них политической самостоятельности. Качественно новый внешнеполитический курс народно-демократических правительств Польши, Югославии и Чехословакии, опиравшийся на сотрудничество с Советским Союзом, расценивался как «подчинение» этих государств внешнеполитическим интересам СССР. Они игнорировали тот факт, что внешняя политика братских стран (особенно в первые послевоенные годы) основывалась на идее солидарности всех славянских народов, будучи направленной на создание прочного барьера на пути традиционного германского «Дранг нах Остен». Сформировавшаяся в конце войны система договоров Советского Союза с Чехословакией, Югославией и Польшей, направленная прежде всего на разгром гитлеровской Германии и обеспечение мира на европейском континенте, не нашла отражения в работах западногерманских историков. Они игнорировали те обстоятельства, что складывавшиеся между Советским Союзом и странами народной демократии отношения имели характер военно-политического союза, в котором каждое государство последовательно отстаивало жизненные национально-государственные интересы. Они не замечали и того факта, что для всех этих стран общим и решающим было стремление к такому урегулированию в Европе, которое бы исключало повторение германской агрессии, гарантировало бы безопасность и нерушимость их послевоенных границ.

Западногерманские историки официального направления не увидели закономерных причин согласованных активных внешнеполитических выступлений социалистических стран в 1946—1948 гг. за совместный контроль со стороны союзников над политическим и экономическим развитием Германии, за претворение в жизнь принципа единства их действий в решении германских дел. Они не смогли объективно оценить советскую программу послевоенного урегулирования, в которой придавалось важное значение сохранению достигнутых во время войны союзных отношений со всеми участниками антигитлеровской коалиции, и, прежде всего, продолжению и расширению плодотворного сотрудничества со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, зародившегося в совместной борьбе против германского фашизма, а также созданию системы коллективной безопасности в послевоенной Европе на платформе антигитлеровской коалиции с участием в ней стран этого региона.

Совместные выступления, предпринятые этими государствами на конференции заместителей министров иностранных дел ведущих держав антигитлеровской коалиции в Лондоне в январе 1947 г., на совещании министров иностранных дел Польши, Чехословакии и Югославии в Праге в феврале 1948 г. и, наконец, на Варшавском совещании министров иностранных дел социалистических государств 23—24 июня 1948 г., где была выдвинута конструктивная программа в отношении Германии, которая соответствовала решениям четырех союзных держав, принятым на Ялтинской и Потсдамской конференциях, и открывала перед немецким народом путь к единству Германии, отвечая интересам всех народов Европы, — все эти факты официальная историография просто «проглядела».

Не признавая социалистические государства в качестве активной силы международной жизни, официальные историки 50—60-х годов преследовали конкретные политические цели — обосновать отрицание правящими кругами ФРГ законных прав и претензий этих стран, вытекавших из результатов войны, разгрома гитлеровской Германии и ее безоговорочной капитуляции, как то: требование Польши признать ее западную границу

по Одре — Нисе Лужицкой, Чехословакии — официально объявить недействительным с самого начала Мюнхенское соглашение, репарационные требования Югославии и Польской Народной Республики, признать законные права ГДР на международной арене, стремление социалистических стран гарантировать безопасность и нерушимость своих границ и исключить повторение германской агрессии в будущем.

Иными словами, официозная историография, осуществляя свою практическую задачу, обосновывала реваншистский внешнеполитический курс, взятый правительством К. Аденауэра и создавала для него своего рода идеологическую основу.

Отражая точку зрения правящих кругов, официозные историки 50—60-х годов выдвигали в качестве предварительного условия улучшения отношений с Советским Союзом и социалистическими странами требование «решить германский вопрос», естественно, на условиях, диктуемых ФРГ, т. е. объединить Германию под эгидой Федеративной Республики, не считаясь с новой расстановкой сил в послевоенном мире, с интересами нового, рабоче-крестьянского государства на немецкой земле — ГДР. Отсюда — постоянное обращение к вопросу «германского единства», «раскола Германии» и его «истоков», к вопросу границы по Одеру — Нейссе и, в связи с этим, вопросу о переселенном из Польши и Чехословакии немецком национальном меньшинстве. При этом такой ракурс проблемы «раскола Германии» как создание сепаратного западногерманского государства и включение его в систему западных военных союзов, что явилось подлинной и основной причиной раскола Германии, окончательно закрепленного принятием ФРГ в НАТО, не рассматривался в работах историков этого направления. В историографии социалистических стран эта сторона «германской проблемы» была показана достаточно убедительно [32—39]. Ни в одном из исследований историков официального направления не раскрыта роль К. Аденауэра (см. [2; 5]), как самого убежденного противника единого демократического и миролюбивого германского государства, противника решения «германского вопроса на демократической основе», инициатора создания сепаратной западногерманской республики, ее ремилитаризации и включения в военно-политический блок западных держав.

Для официозной историографии не имел значения и тот факт, что углублению раскола Германии содействовала проводившаяся ФРГ политика непризнания ГДР, вытекавшая из амбициозных претензий ФРГ представлять интересы всей Германии. ГДР рассматривалась как «советская оккупационная зона», с властями которой Федеративная Республика шла лишь на «технические контакты». Совершенно некритически воспринималась внешнеполитическая практика разрыва дипломатических отношений с государствами, устанавливавшими дипломатические отношения с ГДР, как это произошло с Кубой и Югославией [40]. Ни один из авторов этого направления не пришел к мысли, что проводя в жизнь доктрину Хальштейна, Федеративная Республика блокировала путь нормализации отношений со многими европейскими государствами и, прежде всего, с Германской Демократической Республикой. Политическое высокомерие правительственных кругов тех лет в полной мере отразилось в официозной историографии. Она, например, безоговорочно приняла правительственную точку зрения по вопросу о границе по Одеру — Нейссе, игнорируя то принципиальное обстоятельство, что речь шла не о границе между Федеративной Республикой и Польшей, а между Польшей и другим суверенным германским государством — ГДР, которая с момента возникновения признавала эту линию (Згожелецкий договор, июль 1950 г.) [41].

Историки из Гёттингенского рабочего кружка и Рабочего кружка по восточным вопросам постоянно подчеркивали, что земли восточнее Одера и Нейссе были отданы Польше под «временное управление», а окончательное решение связывали с будущей мирной конференцией. Западные же державы не были согласны с границей по Одеру — Нейссе, но против собственной воли были «принуждены Советским Союзом и

правительством в Варшаве временно принять эту линию» [42, S. 142]. В связи с этим в западногерманской историографии получила широкое распространение «теория рекомпенсации», по которой земли восточнее границы по Одере — Нейссе, переданные Польше, рассматривались в качестве «компенсации» за «потери» ею «восточных территорий» [26, S. 69]. Утверждалось, что отстаивая новую польскую границу на Западе, Советский Союз имел целью «ослабить» Германию и, более того, навсегда посеять «вражду и ненависть» между Германией и Польшей [10, S. 286]. Категорически отрицалась не только справедливость решений Потсдамской конференции о Западной границе Польши, но и выдвигалось требование ее пересмотра. Ф. Гаузе писал: «Граница по Одере — Нейссе — это результат чисто насильственной и завоевательной политики и ни исторически, ни этнографически, ни экономически, ни в культурном отношении не оправдана. Это граница вопреки разуму» [10, S. 285]. Фриц Гаузе утверждал в своей книге, что вместо «западного решения восточной проблемы 1918 года произошло большевистское решение восточной проблемы 1945 года» [10, S. 285]. П. Рот выдвигал требование ревизии границы: «Не ее сохранение, а ее ревизия послужит обеспечению мира и восстановлению добрососедских отношений между Германией и Польшей» [26, S. 72]. Г. Блум обсуждал различные комбинации и варианты, с помощью которых можно было бы вынудить Польшу отказаться от «немецких восточных областей», как он называл западные польские земли [43, S. 117—118]. В. Вагнер «разъяснял», что «советская идея» границы по Одере — Нейссе диктовалась, с одной стороны, желанием Советского Союза расколоть Германию, а с другой — «через большевизированную Польшу распространить область своего влияния как можно глубже на Центральную Европу вплоть до Одера» [44, S. 71—72]. Кроме того, повторялись уже знакомые утверждения, что акция «передачи» Польше территорий восточнее Одера, преследовала цель поддерживать в польском народе страх перед «реваншистской германской угрозой» с тем, чтобы теснее «приковать» Польшу к Советскому Союзу. «Еще и сегодня мы не знаем, было ли это продвижение в Центральную Европу первым шагом в попытке завоевать мир коммунизмом, или же преследовались цели традиционной русской внешней политики со времен Петра Великого», — писал В. Вагнер [44, S. 72], оперируя пресловутым тезисом о «традиционной русской политике», якобы нацеленной на продвижение на Запад, а в более модифицированном виде тезисом о «завоевании мира коммунизмом»⁴.

В число проблем, решение которых правительство Федеративной Республики выдвигало в качестве условия нормализации своих отношений с Советским Союзом и другими социалистическими странами, наряду с вопросом о «германском единстве», непременно включался вопрос о «немецких переселенцах», т. е. о переселенном на территорию Германии по решению Потсдамской конференции немецком населении, проживавшем до войны в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. В их среде культивировались реваншистские настроения, требования «права на родину», «права на возвращение». Возрастающая активность массы «переселенцев» пользовалась попустительством западных оккупационных властей. Западные державы всемерно содействовали возникновению реваншистских организаций в западных зонах оккупации. Правительство ФРГ не только поощряло и поддерживало в политическом и финансовом отношениях деятельность этих объединений, но и заботилось о научной «подкладке» реваншистского движения. Официальная западногерманская историография, особенно ее крайне правое крыло, способствовала реваншистской истерии и раздуванию политических страстей вокруг вопроса

⁴ Тезис о «русской», а позднее «советской» угрозе издавна приводился в качестве аргумента для оправдания собственных экспансионистских и агрессивных замыслов. Следует напомнить о «Завещании Петра Великого», сфабрикованном в министерстве иностранных дел Франции накануне вторжения в Россию в 1812 г. Эта фальшивка неоднократно использовалась и позднее. См. [45].

о «переселенцах», направленных против Советского Союза и социалистических стран.

Появившееся в начале — середине 60-х годов в несколько иной внутри- и внешнеполитической обстановке реально-политическое направление исходило из объективной потребности нормализации отношений ФРГ с восточными соседями, решения спорных проблем, возникших в послевоенные годы между Федеративной Республикой и социалистическими странами, на основах взаимного равноправия. Основываясь на реальной расстановке политических сил в мире, а также на том факте, что ни одна из внешнеполитических целей, выдвигавшихся правительством Федеративной Республики, не была достигнута, представители его выступили за признание итогов войны. Они считали, что в области практической политики такой курс открывал путь к разрядке международной напряженности, к нормализации отношений с Советским Союзом и другими социалистическими странами, что «...не может быть никакой ни немецкой, ни европейской политики, рассчитанной на длительный период, если ... нет продуманной политики по отношению к странам Восточной Европы» [19, S. 38]. Необходимо, подчеркивали они, учитывая жизненные интересы ФРГ, отказаться от доктрины Хальштейна, приведшей к углублению раскола Германии, признать Германскую Демократическую Республику и окончательный характер границы по Одеру — Нейссе, покончить с антикоммунизмом, признать политические и социальные изменения, происшедшие после войны в Восточной Европе, в том числе и в Восточной Германии. Историки реально-политического направления признавали, что образование Федеративной Республики Германии означало формальное закрепление раскола, а политика, проводившаяся ее правительством, способствовала его углублению. Вооружение Федеративной Республики обычным, а в перспективе и ядерным оружием, приведет к возрождению германского милитаризма и еще большему углублению пропасти между двумя германскими государствами. В отличие от представителей официальной историографии «реалисты» видели опасность реваншистских требований пересмотра границы по Одеру — Нейссе, а также отказа от ее признания [17; 18; 19]. Они подчеркивали, во-первых, что Польша не может существовать без возвращенных ей западных земель, а, во-вторых, что территориальные домогательства в период, когда Польша стала составной частью социалистического лагеря, бесперспективны (см., например, [46, S. 11—12]). Отдавая отчет в той огромной потенциальной угрозе, которую могла бы представлять объединенная империалистическая Германия, они подчеркивали неприемлемость такой перспективы даже для западных держав. Реально мыслящие историки выдвигали требование нормализации отношений не только с Советским Союзом, но и со странами Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе и с ГДР.

При всем том ограниченность воззрений историков-«реалистов» отразилась в тенденциозной оценке внешнеполитической самостоятельности социалистических стран. Если представители официального направления рассматривали эти государства как «кордон из сателлитов», созданный в послевоенные годы Советским Союзом для обеспечения своей безопасности, то представители реально-политического направления говорили о «полной внешнеполитической подчиненности» социалистических стран Советскому Союзу [19, S. 40]. Они считали также, что вопрос «германского единства», в конкретном понимании взаимоотношений с ГДР, продолжает существовать, а его суть сводится к задаче восстановления единства германского государства, которое трактовалось в виде перспективного «воссоединения» ГДР и ФРГ. Возражения официальным исследователям, таким образом, исходили не из принципиальных, а из тактических соображений. Выступая за нормализацию отношений с социалистическими странами, в первую очередь с Польшей и Чехословакией, они хотели бы «смягчить» их реакцию в случае «воссоединения» обоих германских государств и давали понять, что собственные национальные интересы этих двух социалистических стран не пострадают. Да и само «воссоединение» мыслилось не как прямое и одноактное поглощение ГДР, а как поэтап-

ный процесс. При этом принципиальным различиям общественно-политического строя двух германских государств не придавалось решающего значения, равно как и факту вхождения ГДР в содружество социалистических государств. Отдельные представители «реалистов» подчас по-разному обосновывали необходимость нормализации отношений со странами социалистического содружества. Некоторые из них полагали даже, что при определенных условиях СССР и другие социалистические страны могут дать согласие на «воссоединение» двух германских государств. Понятно, что такие представления имели мало общего с реальностью.

Оценивая западногерманскую буржуазную историографию 50—60-х годов, можно сказать, что в ней доминировали взгляды официозного направления, в свою очередь отражавшего политические воззрения и внешнеполитические задачи правящих кругов ФРГ, державших курс на поглощение ГДР, восстановление границ германского рейха, перевооружение страны. Точка зрения официозной историографии на отношения со странами социалистического лагеря базировалась также на внешнеполитических принципах официальных кругов. С середины шестидесятых годов в западногерманской историографии намечился процесс размежевания и плюрализма в оценках, отражавший изменения в международной обстановке и сдвиги в общественном мышлении ФРГ, что проявилось в появлении историков с более реальным подходом к рассмотрению отношений с социалистическими странами. В целом же, по своему характеру западногерманская буржуазная историография продолжала оставаться инструментом идеологической и политической борьбы правящих кругов ФРГ против социалистического содружества.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Verhandlungen des Deutschen Bundestages. I Wahlperiode. Stenografische Berichte.* Bd. I. Bonn, 1950.
2. *Adenauer K. Erinnerungen. 1945—1953.* Bd. I. Stuttgart, 1965.
3. *Henkels W.* 99 Bonner Köpfe. Düsseldorf — Wien, 1963.
4. *Noak P.* Deutsche Außenpolitik seit 1945. Stuttgart, 1972.
5. *Steininger R.* Eine Chance zur Wiedervereinigung? Die Stalin Note vom 10. März 1952. Darstellung und Dokumentation auf der Grundlage unveröffentlichter britischer und amerikanischer Akten. Bonn, 1985.
6. *Бертольд В.* ... Голодать или повзноваться. Историография на службе германского империализма. М., 1964.
7. *Салов В. И.* Современная западногерманская историография. М., 1968.
8. *Орлов М. И.* Основные направления буржуазной и социал-реформистской историографии ФРГ. — Новая и новейшая история, 1977, № 4.
9. *Rothfels H.* Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Göttingen, 1959.
10. *Gause F.* Deutsch-slawische Schicksalgemeinschaft. Kitzingen, 1952.
11. *Liess O. R.* Ungarn zwischen Ost und West. Wien — Stuttgart, 1964.
12. *Maydell von K.* Die politische Sowjetisierung Osteuropas. — Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens, 1955, H. 4.
13. *Hoensch J. H.* Geschichte der Tschechoslowakischen Republik 1918—1965. Stuttgart — Berlin — Köln — Wien, 1966.
14. *Mißtrauische Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 1919—1970. Dokumentation und Analyse.* Hrsg. von H. A. Jacobsen. Düsseldorf, 1970.
15. *Dönhoff M. G.* Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer. Kritik und Perspektiven. Reinbek bei Hamburg, 1963.
16. *Dönhoff M. G.* Deutsche Außenpolitik von Adenauer bis Brandt. Hamburg, 1970.
17. *Mann G.* Der verlorene Krieg und seine Folgen. Bestandaufnahme, 1962.
18. *Jaspers K.* Lebensfragen der deutschen Politik. S. 1., 1963.
19. *Rasch H.* Die Bundesrepublik und Osteuropa. Grundfragen einer künftigen deutschen Ostpolitik. Köln, 1963.
20. *Lemberg E.* Osteuropa und die Sowjetunion. Geschichte und Probleme der Welt hinter dem eisernen Vorhang. Stuttgart, 1950.
21. *Волков В. К.* Буржуазная литература о складывании социалистического содружества в Европе (исторические концепции Х. Ситон-Уотсона). — В кн.: Критика буржуазных фальсификаций истории социалистического содружества в Европе. М., 1986.
22. *Seton-Watson H.* Die Osteuropäische Revolution. München, 1956.
23. *Diepenthal W.* Drei Volkdemokratien. Ein Konzept kommunistischer Machtstabilisierung und seine Verwirklichung in Polen, Tschechoslowakei und der sowjetischen Besatzungszone Deutschland 1944—1948. Köln, 1974.
24. *Die Sowjetisierung Ost-Mittleuropas. Untersuchungen in ihrem Ablauf in den einzelnen Ländern.* Hrsg. von E. Birke und R. Neumann Frankfurt am Main, Berlin, 1959.
25. *Schwarz H. P.* Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstand der

- außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945—1949. Luchterhand-Neuwied, 1966.
26. Roth P. Deutschland und Polen. Schriften des Arbeitskreises für Ostfragen. München, 1958.
 27. Müller D. Jugoslawien zwischen Ost und West. Hannover, 1964.
 28. Kowalski W. T. Polityka zagraniczna RP 1944—1947. Warszawa, 1971.
 29. Skowroński A. Polska a sprawa Niemiec 1945—1967. Warszawa, 1967.
 30. Орлик И. И. Империалистические державы и Восточная Европа. М., 1968.
 31. Орлик И. И. Политика западных держав в отношении восточноевропейских социалистических государств. М., 1979.
 32. Никольев Л. А. Политика Советского Союза в германском вопросе 1945—1964. М., 1966.
 33. Галкин А. А., Мельников Д. Е. СССР, западные державы и германский вопрос 1945—1965. М., 1966.
 34. Кремль И. С. ФРГ: этапы «восточной политики». М., 1986.
 35. Pastusiak L. Polityka odbudowy imperializmu niemieckiego. — Przegląd Zachodni, 1978, № 1.
 36. Badstübner R. Restauration in Westdeutschland 1945—1949. Berlin, 1945.
 37. Badstübner R., Thomas S. Die Spaltung Deutschlands 1945—1949. Berlin, 1966.
 38. Badstübner R., Thomas S. Restauration und Spaltung. Entstehung und Entwicklung der BRD 1945—1955. Köln, 1975.
 39. Ersil W. Außenpolitik der BRD. 1949—1969. Staatsverlag der DDR. Berlin, 1986.
 40. Анисеев А. С. Доктрина Хальштейна и Югославия. — Вопросы истории, 1975, № 6, с. 206—211.
 41. Носкова А. Ф., Григорьянц Т. Ю. Згожеleckий договор 1950 г. — Советское славяноведение, 1975, № 5; Fischer J. W 30 rocznicę podpisania Układu Zgorzeleckiego. Geneza oraz znaczenie Układu Zgorzeleckiego dla stosunków PRL — NRD i utrwalenia pokojowego status quo Europy. — Przegląd Zachodni, 1980, № 2; Czubiński A. Znaczenie Układu Zgorzeleckiego z 6 lipca 1950r. dla kształtowania stosunków politycznych w Europie. — Przegląd Zachodni, 1980, № 2.
 42. Deutschlands Ostproblem. Eine Untersuchung der Beziehungen des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn. Würzburg, 1957.
 43. Blum G. Die Oder-Neiße — Linie in der deutschen Außenpolitik. Freiburg im Breisgau, 1963.
 44. Die Entstehung der Oder-Neiße-Linie in den diplomatischen Verhandlungen während des zweiten Weltkrieges. Dargestellt von W. Wagner. Stuttgart, 1953.
 45. Martin H. La Russie et l'Europe. S. 1., 1866.
 46. Bender P. Die Ostpolitik Willy Brands oder Die Kunst des Selbstverständlichen. Reinbek bei Hamburg, 1972, S. 11—12.



РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЭМИГРАЦИЯ БОЛГАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 1830-е ГОДЫ (по неопубликованным документам Архива внешней политики России)

Переселение болгарского населения из Юго-Восточной и Восточной Болгарии в Дунайские княжества и Россию сразу после окончания русско-турецкой войны 1828—1829 гг., особенно большого размаха достигшее весной — летом 1830 г., — один из наиболее значительных эпизодов многовековой истории болгарской эмиграции, прежде всего, в силу своей массовости. Болгарские земли тогда покинули около 130 тыс. человек [1, с. 310—311; 2], что оказало весьма ощутимое влияние на процесс исторического развития болгарского народа в дальнейшем. Одновременный уход с возделываемых земель десятков тысяч непосредственных производителей нанес тяжелый удар по экономике не только указанного региона, но и Османской империи в целом, ее государственной казне. Эмиграция вызвала значительные демографические изменения в большинстве районов этого региона Балканского полуострова, уменьшив болгарский национальный элемент и ослабив на определенное время сопротивление болгар национальному гнету, раздробив силы формировавшейся нации.

Вместе с тем нельзя не отметить, что переселение усилило болгарские колонии в Дунайских княжествах и на Юге России, ставшие центрами консолидации капиталов, формирования национальной буржуазии, выработки идеологических и организационных основ национально-освободительного движения.

Это важное историческое явление с давних пор привлекало внимание русских, советских, румынских, болгарских историков. Интерес к нему не ослабевает и в настоящее время, о чем свидетельствуют последние работы болгарских историков [1; 3]. Однако специальных исследований о переселении болгар в 1830 г. сравнительно немного [4—6]. Но эта проблема рассматривается во многих работах о болгарских переселенцах XVIII—XIX вв. и по истории Болгарии [1; 7—15], а также в сборниках документов [16—18].

Однако степень изученности различных аспектов эмиграции 1830 г. не одинакова. Не ставя своей задачей включение в статью полного историографического обзора, остановимся лишь на узловом вопросе, необходимом для избранного нами ракурса исследования. Речь идет о позиции и политике царского правительства по отношению к этому конкретному этапу болгарской эмиграции.

В историографии этой проблемы (особенно болгарской) существует мнение, что петербургский кабинет был заинтересован в привлечении рабочей силы для освоения целинных южнорусских земель, и с этой целью не только побуждал болгар к переселению в Россию, но во время военных кампаний с Турцией проводил организованную эмиграцию болгар-

ского населения в Россию [1, с. 307—308; 9, с. 659; 12, с. 80; 6, с. 113; 14, с. 26; 15, с. 14, 16].

Другую точку зрения на позицию России в этом вопросе первым высказал проф. С. Б. Бернштейн. На основе документов из Одесского архива (ГАОО) он показал, что в период русско-турецкой войны 1828—1829 гг. отношение правящих кругов России к болгарской эмиграции изменилось, во-первых, потому, что свободных земель в южнорусских провинциях осталось сравнительно мало, во-вторых, — устройство большой массы болгарских переселенцев, среди которых было много немущих, требовало от правительства огромных денежных расходов [19]. Аналогичная точка зрения на отношение царского правительства к этой эмиграции была высказана и И. И. Мещеряком, но недостаточно аргументирована [5, с. 81—83]. В. П. Грачев убедительно показал, что переселения болгар из Османской империи были обусловлены, в первую очередь, их стремлением спастись от невыносимой эксплуатации и физического истощения, а не эмиграционной политикой правительства России [20].

К сожалению, исследование поставленного вопроса не нашло дальнейшей разработки в советской историографии. В болгарской историографии также нет специальных исследований о переселении болгар в Россию в 1830 г. Ограниченность источников не позволяла до сих пор аргументированно ответить на вопрос, какова же была позиция Петербурга к эмиграции болгарского населения после подписания Адрианопольского мира.

В настоящей статье впервые вводятся в научный оборот документы принципиального характера, относящиеся к этому этапу болгарской эмиграции, которые автору удалось обнаружить в Архиве внешней политики России МИД СССР. Это — инструктивные материалы петербургского кабинета российскому посланнику в Константинополе А. И. Рибопьеру, главнокомандующему 2-й армией И. И. Дибичу, первому российскому консулу во внутренних болгарских землях Г. В. Ващенко, а также их донесения в МИД России по вопросу болгарской эмиграции весной — летом 1830 г., раскрывающие политику царского правительства в этом вопросе. Эти материалы консульства в Сливене отложились в фонде Посольство в Константинополе (д. 812, 813, 119) и фонде Канцелярия (1830, д. 72, 73) и не были ранее известны исследователям¹.

Как известно, Адрианопольский мир, подписанный 14 сентября 1829 г., возвращавший все болгарские территории под власть султана, принес горькое разочарование болгарам, не получившим желанной автономии, участие же в военных действиях на стороне русских войск, помощь русской армии создавали для болгар с уходом 2-й армии реальную угрозу репрессий со стороны османов. Это было очевидно и для российской дипломатии, которая при подписании мирного договора включила не только статью об амнистии тем, кто выступал на стороне какой-либо из договаривающихся сторон (ст. XIII), но и усилила ее рядом оговорок, которые разрешали всем желающим болгарам, не опасаясь никаких притеснений, на протяжении 18-и месяцев после заключения мирного договора продажу имущества и беспрепятственное переселение со своими семьями в другую страну, избранную по их усмотрению. Так открывалась легальная возможность эмиграции болгарского населения из Османской империи. Опираясь на положение ст. XIII, уже с 16 сентября 1829 г. по 13 марта 1830 г. в Россию отправилось около 280 семей [5, с. 87]. Однако основная масса болгар еще надеялась на улучшение положения дел на родине. Популярной оставалась идея восстания до отхода русских войск. Такое выступление готовил Г. Мамарчев. Но обе попытки поднять восстание, предпринятые им, окончились неудачей [13].

Еще до ухода русских войск из Болгарии вооруженные разбойничьи шайки османов стали чинить насилия над христианами [1, с. 307]. Особенно тяжело пострадали болгары Сливена и его окрестностей, которые были особенно активны во время только что закончившейся войны [11,

¹ Автор выражает признательность сотруднице Архива внешней политики России З. И. Платоновой за помощь, оказанную в работе.

с. 142]. Как писал об обстановке того времени Г. С. Раковский, «леса Балканского хребта кишели вооруженными осмапами, готовыми расправиться с беззащитными болгарами, как только русские войска уйдут в Россию, и положение болгарского населения было столь трагичным, что много выхода, как переселение, оно не видело» [21, с. 106—107].

Нелегко далось болгарам решение об эмиграции. По вопросу, какой путь избрать — остаться или переселиться — разгорелась ожесточенная борьба среди населения Сливена и близлежащих городов [11, с. 142—149]. Болгары неоднократно обращались к русскому командованию с жалобами на свое положение и с просьбами помочь им переселиться из Османской империи в Россию. Сторонники переселения в начале января 1830 г. направили в штаб-квартиру русских войск представительную депутацию. В ее состав вошли «жители Сливена, Ямбола, Неры, Казана, Башкиой и Карнобата»², ...чтобы получить разрешение на массовую эмиграцию и помощь в их переселении» [22, д. 812, л. 6]. Они представили списки тех, кто желал эмигрировать в Россию [23, д. 72, л. 351]. Депутация была принята И. И. Дибичем. Он ознакомил их с фирманом об амнистии, опубликованным в ноябре 1829 г.³, заверив при этом, что «турецкое правительство приняло эффективные меры к осуществлению этого акта», и рекомендовал им «доверие и покорность по отношению к турецкому правительству» [22, д. 812, л. 7].

Реакцию болгар на это заявление Дибича передал Г. Раковский: «О какой амнистии вы говорите? Турки не слушают своего султана!» [21, с. 106]. В ходе беседы с русским главнокомандующим представители болгарского населения изъявили твердое намерение переселиться, а также выразили желание иметь в этом районе русского консула, присутствие которого будет гарантией постоянного покровительства российского двора [10, с. 137; 22, д. 812, л. 9].

Желание большого числа христиан переселиться в Россию (как указывал Дибич в своем донесении К. В. Нессельроде, — от 30 до 40 тыс. человек, в основном, болгар [23, д. 72, л. 230]) и их настойчивость заставили главнокомандующего обратиться за соответствующими инструкциями к своему правительству. В письме к А. И. Чернышеву от 13 января 1830 г. он высказался против их массовой эмиграции, считая «полезнейшим не ослаблять в краю том христианского населения» [5, с. 81].

Такое отношение к переселению болгар встретило одобрение Николая I, разделявшего мнение Дибича по политическим и экономическим соображениям. Отток большой массы христианского населения из этого региона Балкан ослабил бы позиции царизма как покровителя христиан Османской империи и создавал бы трудности для проведения его политики в дальнейшем. Учитывая, что свободных земель на юге России оставалось мало и в основном это были малопригодные для земледелия участки, что создавало трудности для устройства большого числа переселенцев и требовало бы значительных расходов правительства, царь считал особенно нежелательным приток в Россию немущих беженцев, так как представители бедных слоев переселенцев, не имея средств на обустройство крепким хозяйством, часто уезжали обратно, что послужило основанием для введения еще в 1800 г. имущественного ценза в Положении о переселенцах.

В обстановке после подписания Адрианопольского мира, чтобы ограничить массовую эмиграцию болгар в Россию, Николай I предписал Дибичу помимо соблюдения имущественного ценза разрешать воспользоваться правом переселения «только тем жителям Болгарии и Румелии, которые непосредственно или косвенно принимали участие в военных действиях против турок». Таким лицам разрешалось оказывать помощь при переезде в Россию. Прочим же было предписано ограничить выдачу пас-

² Источник впервые указывает, жители каких городов вошли в состав депутации.

³ Шермет В. И. в своей работе [24] указывает, что фирман Порты об амнистии был опубликован в декабре 1829 г. Нами обнаружено донесение А. Ф. Орлова Дибичу И. И. от 26 марта 1830 г., в котором он пишет об амнистии, «объявленной Портой в ноябре прошедшего года» [23, д. 72, л. 352].

портов, правда, с оговоркой, — насколько это представится возможным без нарушений ст. XIII. Это повеление царя было направлено Дибичу 5 февраля 1830 г. [5, с. 82].

Таким образом, в условиях стихийно формировавшейся болгарской эмиграции царское правительство вынуждено было либо оказать помощь болгарам в их решении покинуть свою родину из страха перед репрессиями со стороны османов, либо утратить свой авторитет среди них. На последнее Россия пойти не могла, так как это означало изменить своей политике покровительства христианскому населению Османской империи и потерять свое влияние на Балканах. Однако, оказывая помощь болгарам в переселении, петербургский кабинет приложил максимум усилий, чтобы остановить массовую эмиграцию болгар.

Он принимал все меры, чтобы обеспечить соблюдение ст. XIII. А. Ф. Орлов в Константинополе получил указание обратить внимание Порты на выполнение обязательств по этой статье [23, д. 57, л. 107]. Российскому посланнику в Константинополе А. И. Рибопьеру были даны указания «потребовать от Порты направить местным властям самые точные приказы, обеспечивающие строгое проведение фирмана об амнистии» [23, д. 60, л. 95 об.]. Дибичу была направлена инструкция, в которой от имени императора предписывалось принять все меры убеждения, чтобы «успокоить волнение, охватившее христианское население Румелии и остановить тенденцию, которое оно проявляет к эмиграции» [23, д. 72, л. 234—236].

И. И. Дибич, пригласив спустя 40 дней болгарскую депутацию, дал ей ответ в соответствии с инструкциями, полученными от своего правительства⁴. Он сообщил депутатам, что его правительство предоставляет возможность переселиться в Россию и обязуется оказать помощь им в этом переселении. Но при этом подчеркнул, что предоставляя болгарам право переселения на основании ст. XIII Адрианопольского мирного договора, оно «нисколько к тому их не приглашает» [5, с. 82]. Члены депутации передали слова Дибича жителям посланных их городов. Сливенцы стали организаторами переселенческого движения, во главе которого встал Иван Селиминский⁵.

В начале апреля, после очередной неудачной попытки Г. Мамарчева поднять восстание, определился основной контингент желающих эмигрировать. Победила партия сторонников переселения [11, с. 140], которое было назначено на середину апреля 1830 г., до окончательного ухода русских войск, начавшегося 25 апреля (7 мая) [25]. 13 апреля на Айтоском поле, месте встречи всех готовых к переселению, собралось около 100 тыс. человек, главным образом из Сливена, Ямбола, Варны, Стара-Загоры и их окрестностей [11, с. 145; 147; 16].

Русские военные власти оказывали помощь в подготовке и отправлении тех, кто изъявил желание эмигрировать в Россию. Они занимались составлением списков для обеспечения каждой семьи паспортами и проездными билетами [11, с. 140]. Интендантство армии принимало меры к снабжению нуждавшихся продовольствием на все время пребывания в пути [5, с. 90; 23, д. 72, л. 434].

Тем же, кто желал остаться на родине, оказывалась помощь семенами, необходимыми для сева [22, д. 812, л. 17].

Было удовлетворено и другое пожелание болгар. Для осуществления контроля за исполнением ст. XIII и для защиты интересов оставшихся жителей в Сливен был назначен российский консул Г. В. Ващенко. Направление Ващенко в болгарские земли преследовало и другую цель. В инструкции ему И. И. Дибич подчеркивал, что основная цель его деятельности — остановить эмиграцию болгар, «которая весьма мало соответствует интересам России и будет гибельна для Оттоманской империи».

⁴ В книге Мещеряка И. И. [5] нарушена последовательность событий, связанных с переговорами болгарской депутации с Дибичем. Поэтому позиция Дибича отражена Мещеряком недостаточно аргументированно.

⁵ Иван Селиминский — известный общественный деятель, врач, сторонник переселения в Россию.

Поэтому во всех населенных пунктах, которые консул будет посещать, ему предписывалось «возобновить перед болгарам заверения, что амнистия будет строго выполняться» [22, д. 813, л. 6—7 об.].

А. Ф. Орлов, во исполнение инструкций своего правительства, имел переговоры с реис-эфенди, основным содержанием которых было обсуждение мер, направленных на улучшение положения христианского населения Османской империи и строгое соблюдение объявленной амнистии [23, д. 73, л. 356—364].

Поскольку территория, население которой было охвачено желанием эмигрировать, была слишком велика, Дибич обратился в МИД России с просьбой «направить в болгарские земли еще нескольких временных агентов, которым будет поручено остановить тенденцию христианского населения этого края Османской империи к эмиграции в Россию» [22, д. 119, л. 176—176 об.]. В апреле 1830 г. он сообщал К. В. Нессельроде, что предпринял все, чтобы остановить переселение болгар в Россию [25].

Назначение российского консула во внутренние болгарские земли, не предусмотренное постановлениями мирного договора, вызвало осложнения в отношениях между Россией и Турцией. Порта расценила это назначение как стремление царского правительства побудить болгар к переселению. Узнав о том, что большое число болгар подготовилось к эмиграции, турецкое правительство обратилось с протестом к А. Ф. Орлову, считая, что она вызвана деятельностью русских агентов. Великий визирь написал по этому поводу И. И. Дибичу. В своем ответе главнокомандующий объяснил, что Порта заблуждается на сей счет, и дал подробные разъяснения [22, д. 812, л. 9].

Графу Орлову были даны специальные инструкции, в которых предписывалось в его объяснениях с турецким министерством рассеять эти подозрения. Было подчеркнуто, что «назначение консула, присутствие которого должно способствовать тому, чтобы остановить поток эмиграции, так же соответствует интересам Порты...» [23, д. 60, л. 95, д. 58, л. 280—280 об.]. Такие же разъяснения были даны турецким представителям в Петербурге. В результате этих действий российской дипломатии назревавший конфликт был предотвращен [26, л. 103].

Первый российский консул в Румелии Г. В. Ващенко прибыл в пункт назначения Сливен уже после того, как из города 13 апреля вышел огромный караван беженцев, насчитывавший около 15 тыс. человек. Из 4000 болгарских семей осталось 65 [17, с. 7]. Три четверти города превратилось в пепелище, так как болгары решили ничего не оставлять туркам [10, с. 147].

В депеше № 1 Ващенко доносил И. И. Дибичу, что по пути своего следования «от Бургаса до Казана видел только покинутые и сожженные самими жителями деревни и длинные вереницы повозок, направлявшихся к месту их сбора и отъезда в Россию. Многие из этих караванов, насчитывающие от 30 до 40 семей, были из деревень, близлежащих к Айтосу, Карнобату, Ямболу, Селимно (Сливену. — *О. М.*), большинство же было жителей Селимно» [22, д. 813, л. 8]. Он разговаривал со многими из этих людей, убеждал их остаться, говорил о трудностях, ожидающих их в пути, заверяя, что «они могут быть уверены в том, что ни в чем не пострадают от турецких властей за прошлое в силу всеобщей амнистии, дарованной султаном, за строгим соблюдением которой, согласно их пожеланиям, он назначен императором наблюдать» [22, д. 813, л. 8 об.]. Интересна реакция болгар на слова Ващенко: «Все, что я им говорил, не могло поколебать болгарских вождей: они твердо решили осуществить свое намерение и не возвращаться к своим очагам до тех пор, пока она (Болгария. — *О. М.*) не будет устроена по типу Сербии или Молдавского или Валашского княжеств. Низший класс слушал советы с большим вниманием. Большинство обещало подумать и посоветоваться со своими соотечественниками. Другие прямо на месте выразили желание вернуться» [22, д. 813, л. 8 об.].

Ващенко сообщил, что от аяна города Карнобата он узнал, что большинство жителей этого города — болгар уехало уже две недели назад,

несмотря на фирман об амнистии [22, д. 813, л. 9]. Консул посетил Казан (Котел). В своей встрече с болгарами города он разъяснил, что назначен в Румелию следить за исполнением постановлений в их пользу. Последнее обстоятельство убедило, по его словам, «жителей Казана отказаться от плана экспатрироваться, за исключением 60 семей, которые хотят последовать за своими уехавшими соотечественниками». Однако, не доверяя местным османским властям, они изъявили желание, чтобы Ващенко или постоянно находился у них в городе, или чаще посещал его [22, д. 813, л. 10—12 об.]. Пожелание иметь русского консула в своем городе жители Казана повторяли неоднократно [22, д. 813, л. 22 об.]. О настроениях болгарского населения Г. В. Ващенко доносил и далее: «Болгары желали бы либо эмигрировать, либо быть под надежным покровительством в качестве русских подданных» [22, д. 813, л. 17].

Таков политический аспект проблемы. Но был и иной ее аспект — экономический, тесно связанный с первым. В донесениях из Румелии Ващенко давал довольно полную картину состояния этого края. В большом обзоре «Замечания о промыслах и торговле Селимно и близлежащих мест» он описывает последствия войны и эмиграции для этих мест: виноградники остались невозделанными, уменьшилось количество добываемой соли в Анхияло, количество овец сократилось с 700 тыс. до войны до 50 тыс. в описываемый период, поля остались полностью невозделанными, оружейная мастерская в городе в запустении из-за малолюдства, ежегодная ярмарка в этом году не состоялась из-за отсутствия порядка, который полностью не восстановлен. «Румелия изобилует различным минеральным сырьем, в горах много шахт соляных и рудных, но все это или заброшено или держится в секрете» [22, д. 813, л. 60—62]. В другом донесении консул писал, что «нищета, разбои одолевают местных жителей, из-за грабежей и убийств затруднено сообщение между городами» [22, д. 813, л. 86].

Размеры эмиграции и ее последствия напугали султанское правительство и заставили его, в свою очередь, выработать позицию, суть которой заключалась в том, чтобы задержать тех, кто еще не уехал, и вернуть уехавших. В осуществление этой политики были приняты определенные меры. Вслед за фирманом об амнистии Махмут II обнародовал особый фирман, по которому вернувшимся гарантировались: возврат имущества, земли и личная безопасность [9, с. 656]. Фирманы в пользу христиан следовали один за другим до 1836 г. В Дунайские княжества были направлены эмиссары Порты, которые убеждали осевших там болгар вернуться на родину [8, с. 42; 9, с. 656]. Местным властям были разосланы приказы «знать все беды, которые толкают их (болгар.— *О. М.*) на этот чрезвычайный отъезд, чтобы предотвратить их и помочь тем, кто остается» [22, д. 813, л. 27].

Соответственно этому приказу аян Сливена собрал требуемые сведения и направил их в Константинополь. По мнению аяна, такими причинами были: судебная несправедливость по отношению к христианам, бесконечные злоупотребления местных властей, насилия над христианами и даже убийства их. «Угнетателями были турки. Их банды были в полной безопасности, так как аяны и кадии, будучи в сговоре с ними, не желали слушать жалоб и всячески препятствовали тому, чтобы эти жалобы достигли верховных властей» [22, д. 813, л. 27 об.].

В разговоре с Ващенко сливенский аяя назвал поименно инициаторов происходящих в городе бесчинств и сказал, что у него уже готов доклад великому визирю о мерах, которые необходимо, по его мнению, предпринять, чтобы успокоить болгар. Такими мерами, помимо наказания виновных, он считал: для жителей Сливена — снижение налогов пропорционально их числу и средствам, причем оставшиеся пи в кося мере не должны отвечать за тех, кто уехал; для жителей Казана — отсрочка сбора десятины с овец, так как стада, основной источник их промысла, погибли [22, д. 813, л. 27 об.— 29 об.].

В своих донесениях Ващенко положительно оценивал деятельность сливенского аяна, направленную на то, чтобы в точности соблюсти приказы своего правительства. Однако действия аяна были парализованы

самоуправством местных османов, которые, стремясь его сместить, плели интриги перед великим визирем [22, д. 813, л. 34—36 об.].

Несмотря на приказы из центра, местные власти взимали налоги с христиан большие, чем с османов, что привело к отъезду еще нескольких десятков болгарских семей из Сливена, Казана, Градеца и Башкиоя. Болгары этих городов сформировали депутацию в Константинополь с жалобой султану на произвол местных властей [22, д. 813, л. 34—36 об.]. Эта депутация в конце мая соединилась в дороге с посланными из Ямбола, Ени-Сарая и других мест. Но в Адрианополе они встретились с великим визирем и передали ему свои петиции. Визирь принял все петиции, за исключением жалобы сливенцев, которые были подвергнуты остракизму за то, что почти все болгары покинули Сливен [22, д. 813, л. 42].

Рассмотрев жалобы депутатий, визирь послал с ними приказы аянам городов, в которых подробно изложил меры, направленные на улучшение положения христиан с учетом особенностей различных местностей. Этот большой документ отложился в АВПР в изложении Г. В. Ващенко. Из него явствует, какие налоги платили жители этих городов, насколько бесправно было христианское население в Османской империи и каковы были наиболее частые злоупотребления в отношении их. В документе отражены уступки, на которые пошла Порта в тех чрезвычайных обстоятельствах: запрещение аянам и кадиям требовать с жителей городов что-либо для своего содержания, превращать взыскание харача в незаконные поборы, использовать жителей городов на барщине в своих деревнях, взыскивать харач за отсутствующих. Запрещалось также при проезде почты требовать от жителей ночлега и прокорма, размещать в их доме войска на постой. Что касается десятины с овец, то по повелению султана все владельцы овец Силистрийского пашалыка освобождались на год от взимания этого налога [22, д. 813, л. 40—42].

Через два дня великий визирь призвал к себе депутатов из Сливена. В разговоре с ними он прибег к угрозе, сказав, что «те, кто последуют за уехавшими, но захотят вернуться, не будут приняты» [22, д. 813, л. 42 об. — 43].

Как отмечал Ващенко, эти меры не устраивали болгар полностью, и в отношении десятины с овец они хотели бы иметь фирман и собираются направить делегацию в Константинополь, так как полученные от визиря распоряжения местным османским властям их не удовлетворили [22, д. 813, л. 45].

Стремясь успокоить болгарское население и вернуть уехавших, султанское правительство отдавало все более строгие приказы местным властям с целью покончить с злоупотреблениями и восстановить порядок. В июне 1830 г. был опубликован фирман, запрещающий проходящим войскам и всем без исключения функционерам требовать с райи постоя и кормления без уплаты. Константинопольский патриарх обратился с циркулярным письмом ко всем православным священнослужителям, чтобы те обо всех несправедливостях по отношению к христианскому населению сообщали ему для передачи османскому правительству. Был издан указ, предписывающий всем местным властям сохранять в течение пяти месяцев дома эмигрировавших в ожидании возвращения хозяев [22, д. 813, л. 47].

Как отмечал Ващенко, «все эти меры свидетельствуют, что турецкое правительство приняло правильные меры по отношению к своим подданным, и ясно, что если бы все отданные приказы всегда выполнялись бы, то христианам не на что было бы жаловаться. Но функционеры, которые должны осуществлять эти приказы, не придают им большого значения и предоставляют делам идти как прежде» [22, д. 813, л. 47 об.]. В качестве примера он привел погром, учиненный в Сливене 30-ю османскими солдатами-отпускниками, поддержанными мусульманским населением [22, д. 813, л. 48].

В районе появились и признаки чумы, что переполнило чашу терпения славянского населения. И российский консул вынужден был признать, что «он не может остановить эмиграции болгар, спровоцированной

сами турками, и болгары не желают больше слушаться его советов» [22, д. 813, л. 50]. Они «заявили, что у них нет уверенности в будущем против злоупотреблений турок, и они непременно покинут этот край» [22, д. 813, л. 55 об.]. Действия Ващенко были парализованы нежеланием местных властей подчиняться приказам своего правительства [22, д. 813, л. 54—54 об.].

Сложившийся диссонанс между распоряжениями верховной власти и оппозицией местных органов вынудили консула обратиться к великому визирю с призывом обеспечить строгое соблюдение ст. XIII Адрианопольского мира [22, д. 813, л. 65—66].

Но и само правительство Османской империи, не привыкшее считаться с интересами христианского населения, не желая мириться с потерей доходов с этого края, было непоследовательно в своих действиях. Так, вопреки своим постановлениям, обещаниям и послаблениям в пользу христиан, оно облагало его такими налогами, «которые не могут вынести не только христиане, но и турки» [22, д. 813, л. 75 об.].

По фирману Порты винную пошлину в 70 тыс. пиастров, которую раньше платили все христиане Сливена перед эмиграцией, теперь должны были уплатить оставшиеся. Другой султанский фирман обязывал устраивать на ночлег и кормить все регулярные войска при их прохождении через города и деревни [22, д. 813, л. 91—95 об.]. Это противоречило июньскому фирману, по которому они освобождались от этой повинности.

Ващенко посоветовал болгарам направить депутацию к руцукскому паше, который впоследствии наказал аянов ряда городов и сел этого края за злоупотребления против христиан, а налоги были или значительно уменьшены, или более точно регламентированы [22, д. 813, л. 50].

Деятельность Г. В. Ващенко, трудности, с которыми пришлось столкнуться беженцам в пути, а также в определенной степени меры османского правительства привели к тому, что в сентябре 1830 г. эмиграция болгар в Дунайские княжества и Россию не только сократилась, но и почти прекратилась (подробнее см. [5, с. 95]). Некоторые семьи начали возвращаться на родину. Уже в сентябре 1830 г. вернулось 60 семей, эмигрировавших из окрестностей Адрианополя, в ноябре вернулось 20 семей в Сливен, 40 — в Карнобат, 60 семей — в другие места Румелии. По возвращении они получили свое недвижимое имущество и были освобождены от уплаты харача на год по чрезвычайному указу руцукского паши [22, д. 813, л. 87].

С этого периода начался спад эмиграционного движения болгар.

Завершить рассмотрение проблемы нам хотелось бы приведением еще одного документа — Отчета МИД за 1830 г., который в силу своего предназначения — для императора, строго для внутреннего пользования — носит откровенный характер и является итоговым.

«В начале истекшего года ... большое количество христиан, жителей Румелии и Болгарии, опасаясь соделаться по выходе войск наших предметом гонения турецкого правительства, вознамерилось переселиться в пределы России. Таковое многочисленное переселение и водворение сих выходцев в империи не могло быть совершено без значительного с нашей стороны пожертвования и вместе с тем поколебало бы лишь восстановленное доброе согласие между обеими державами, да и самое уменьшение христианского населения в областях Турции было совершенно противно нашим выгодам. По сим уважениям было признано необходимым присутствие в том крае российского агента, дабы посредничеством и наблюдением за распоряжениями турецкого правительства успокоить христиан, страдающих преследований за действия во время войны и тем удержать стремление их в наши пределы. Таковой был назначен временно в город Сливен как главный пункт сих областей. Ему даны подробные паставления касательно возложенных на него обязанностей и сверх того поручено: наблюдать положение дел во внутренних турецких областях, доносить о появлении чумы и других заразительных болезней, о ходе торговли и промышленности, о духе, господствующем между жителями и о мерах, принимаемых Портой для заглажения следов войны...

Назначение консула в Сливно подало повод к некоторым объяснениям с турецким правительством, полагавшим, что оный определен единственно для побуждения жителей к переселению в Россию, но препятствия сии были устранены вследствие представлений, сделанных как нашим посланником непосредственно в Константинополе, так равно и здесь через турецких полномочных, и сей случай послужил к вящему убеждению Порты в искренности расположения российского двора» [26, л. 101—103 об.].

Таким образом, обнаруженные нами документы, впервые вводящиеся в научный оборот, являются, на наш взгляд, материалами принципиального характера. Они с очевидностью свидетельствуют, что эмиграционное движение болгарского населения из Юго-Восточной и Восточной Болгарии, начавшееся по окончании русско-турецкой войны 1828—1829 гг. и достигшее кульминации весной — летом 1830 г., было вызвано стихийным побуждением народных масс к бегству из опасения жестоких репрессий османов.

Из приведенных выше документов явствует, что правительство России не только не являлось организатором этой эмиграции, но и предпринимало все меры для того, чтобы остановить ее. Оно сдержанно относилось к массовой эмиграции в силу опасения осложненной международного характера в обстановке только что закончившейся войны и подписания мира.

Тактика Петербурга заключалась в контроле за строгим соблюдением Портой ст. XIII Адрианопольского мирного договора.

Россия, предоставляя болгарам, принимавшим участие в военных действиях на стороне русской армии, право переселения в любую страну по их выбору, не ожидала столь массового исхода болгарского населения. Поставленная перед дилеммой сохранить мир с Турцией и не потерять свой авторитет среди православного населения Османской империи, она, выполняя взятые на себя по Адрианопольскому миру обязательства, оказала помощь болгарам в их стихийно формировавшемся переселении, но одновременно, исходя из своих экономических и политических интересов, предприняло все меры к ограничению его.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дойнов С. Преселнически движения от българските земи по време на руски-турски-те войни през първата половина на XIX в. — В сб.: Българското възраждане и Русия. София, 1981.
2. История на България в 14 томах. Т. V. София, 1985, с. 209.
3. Trajkov V. Les aspects socio-économiques de l'émigration bulgare en Valachie après la guerre Russo-turc de 1828—1829. — Etudes balkaniques, № 4, 1983; Трайков В., Жечев Н. Българската емиграция в Румъния XIV в. — 1878 година и участието ѝ в стопанския, обществено-политически и културния живот на румънския народ. София, 1986.
4. Кисимов П. Бягство на сливенци подир руските войски на 1830 г. — Българска сборка, г. X, кн. 1. София 1903; Дикюлеску Вл. Привилегии, давани на българските преселници във Влашко през 1803—1804 г. — В сб.: Изследования в чест на акад. М. С. Дринов. София, 1960; Велики К. Румыно-руская помощь, оказанная болгарам, эмигрировавшим в румынские княжества вследствие войны 1828—1829 гг. — Romanoslavica, v. II. București, 1958; Velichi C. Așezămintele coloniștor bulgari din 1830. — Romanoslavica, v. III. București, 1958; Velichi C. Emigrări la Nord și la Sud de Dunăre în perioada 1828—1834. — Romanoslavica, v. XI. București, 1965; Велики К. Исцелването от Карнобат във Влашко през 1830 г. — Известия на Институт за история. Т. 16—17. София, 1966; Трайков В. Българската емиграция във Влашко след Руско-турската война от 1828—1829 г. — В сб.: Одринският мир от 1829 г. и балканските народи. София, 1981.
5. Мещерюк И. И. Переселение болгар в Южную Бессарабию. 1828—1834 гг. Кишинев, 1965.
6. Velichi C. Emigrarea bulgarilor din Sliven în Țara-Românească în anul 1830. — Romanoslavica, v. X. București, 1965.
7. Скальковский А. Болгарские колонии в Буджаке и Новороссийском крае. Одесса, 1848; Иванов И. Краткий очерк болгарских колоний в Бессарабии. — В кн.: Записки бессарабского областного статистического комитета. Т. 3. Кишинев, 1864; Занетов Г. Българските колонии в Русия. Колонии в Бесарабия. — Периодично списание на Българското книжовно дружество в Средец. Т. 48. Средец, 1895; Титоров И. Българите в Бесарабия. София, 1905; Державин Н. С. Болгарские колонии в России. Т. II. СПб., 1915; Дякович В. Българите в Бесарабия. Кратък исторически очерк. София, 1930; Станев Н. България под игото (1393—1878).

- Възраждане и Освобождение. София, 1936; *Nistor I. Aserarile bulgare și gagauze din Basarabia.* — Analele Academiei Române. S. III, t. XXVI, mem. 3. București, 1944; *Constantinescu-Jași P. Studii istorice romino-bulgare.* București, 1956; *Velichi C. N. La contribution de l'émigration bulgare de Valachi à la renaissance politique et culturelle du peuple bulgare.* București, 1978; *Натан Ж.* Болгарское возрождение. М., 1949; *Жечес Н.* Браила и българското културно-национално възраждане. София, 1970; *Тонев В.* Добруджа през Възраждането. Варна, 1973.
8. *Липранди И. П.* Болгария. М., 1877.
 9. *Пастузов С.* Българска история. Т. II. София, 1943.
 10. *Арнаутов М.* Селимински. Живот, дело, идеи. (1799—1867). София, 1938.
 11. *Табаков С.* История на град Сливен. Т. II. София, 1924.
 12. *Кристанов Цв., Маслее С., Пенаков И.* Д-р Иван Селимински като учител, лекар и общественик. София, 1962.
 13. *Кочобеев В. Д.* Българското националноосвободително движение. Идеология, програма, течения. София, 1972, с. 268—271.
 14. *Хаджиниколови Е.* Българските преселници в Южните области на Русия 1856—1877. София, 1987.
 15. *Трайков В.* Руски-турските войни през XVIII—XIX в. и преселенита на българци на север от Дунава. — Военноисторически сборник. София, 1986, № 3.
 16. *Селимински И.* Народното братство в гр. Сливен и голямото народно преселение в 1830 г. — Библиотека «Д-р Ив. Селимински», кн. IX. София, 1928, с. 71—76.
 17. *Романски С.* Българите във Влашко и Молдова. Документи. София, 1930.
 18. *Велики К., Трайков В.* Българската емиграция във Влашко след Руско-турската война 1828—1829 гг. Документи. София, 1980.
 19. *Бернштейн С. Б.* Страници из истории болгарской эмиграции в Россию во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. — Уч. зап. Ин-та славяноведения. М.—Л., 1949, № 1, с. 333—337.
 20. *Грачев В. П.* К вопросу переселения болгар в Россию в начале XIX в. (1800—1806). — В сб.: Българското възраждане и Русия. София, 1981, с. 284—285.
 21. *Раковски Г.* Горски пътник. — Съчинения. Ред. проф. М. Арнаутов. София, 1922.
 22. АВПР, ф. Посольство в Константинополе, 1830.
 23. АВПР, ф. Канцелярия, 1830.
 24. *Шеремет В. И.* Турция и Адрианопольский мир 1829 г. М., 1975, с. 170.
 25. ЦГАДА СССР, ф. 15, оп. 1, д. 301, ч. 2, л. 462.
 26. АВПР, ф. Отчеты МИД, 1830.



ТЕМА «РАСЧЕТОВ С ПРОШЛЫМ» В ТВОРЧЕСТВЕ Т. БРЕЗЫ ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Первые послевоенные годы (1945—1948) в истории польской литературы XX в. — это период серьезных изменений в мировоззрении писателей, поисков нового направления художественного творчества, ожесточенных споров о прошлом и будущем польского народа и польской культуры. В идеологическом плане литературная жизнь этих лет, как верно отмечает В. Навроцкий, «определялась двумя большими комплексами национального опыта: пережитое во время войны и оккупации, в том числе весьма глубокие перемены в сознании почти всех тогдашних писательских поколений, и коренные социально-политические преобразования, которые принесла революция» [1, с. 124].

В этот период из печати вышли произведения, созданные как в годы войны, так и сразу после ее окончания, в которых писатели стремились осмыслить причины сентябрьской катастрофы 1939 г. и оценить последствия почти шестилетней оккупации страны. «Медальоны» (1946) З. Налковской, «Старая кирпичня. Мельница на Лютыне» (1946) Я. Ивашкевича, «Прощание с Марией» (1946) и «Каменный мир» (1948) Т. Боровского, «Шекспир» (1948) и «Бегство из Ясной Поляны» (1949) А. Рудницкого — вот далеко не полный перечень прозаических произведений, в которых описывались зверства фашизма, его растлевающее влияние на души людей и был поставлен вопрос: как стали возможны подобные преступления? Как могло получиться, что — говоря словами З. Налковской — «людям людям уготовили эту судьбу»? На этот же вопрос пытались ответить авторы многочисленных документальных книг, написанных по горячим следам войны, узники гитлеровских лагерей и тюрем, борцы Сопротивления, участники Варшавского восстания. Их произведения, такие как «Дым над Биркенау» (1945) С. Шмаглевской, «Решетка» (1945) П. Гоявичинской, «С баррикады в долину голода» (1946) М. Русинька и другие, вместе с художественной прозой на эту тему сохранили свое антифашистское и гуманистическое значение по сей день.

Память о шести миллионах погибших требовала от художника-гуманиста ответа на вопрос, кто был виноват в этом, кто привел страну к катастрофе. Так вошла в литературу новая тема, занявшая наряду с военной ведущее место в польской прозе 40-х годов — ее можно определить как тему «расчетов с прошлым». В центре внимания одних писателей — проблемы интеллигента, в годы войны осознавшего зыбкость тех абстрактно-романтических идей, которые составляли основу его мировоззрения, стремящегося найти свое место в новом мире. В рамках этой литературы «интеллигентских расчетов», как ее назвал К. Выка, видное место занимают романы Ст. Дыгата «Боденское озеро» (1946) и «Прощание» (1948). Для других писателей — это расчеты с политической системой Польши 20—30-х годов. Таковы, например, романы Т. Брезы «Стены Иерихона» (1946) и «Небо и земля» (1949—1950), Е. Путраменты «Действительность» (1947),

З. Налковской «Узлы жизни» (1948), в которых содержится острая критика правящих кругов предвоенной Польши.

Диалогия Т. Брезы — «Стены Иерихона» и «Небо и земля» — одно из крупнейших достижений польской прозы XX в., в котором нашли отражение процессы, происходившие в общественной мысли в первые послевоенные годы, переворот в мировоззрении многих польских писателей. Вот как говорил об этом сам Бреза: «О своем мировоззрении я всегда думал не худшим образом. Я был прогрессивным, демократичным, „сочувствующим“. Но прежде всего я был человеком искусства, по убеждению интеллектуалистом, то есть придерживался принципа, что правду того или иного человека надо прежде всего понять, а судить о ней следует крайне осторожно. Тем временем одни „правды“ подожгли мир, другие — погасили пожар. Оказалось, что в союзе с носителями той, другой правды и неприятии „правды“ первых куда больше здравого смысла, чем во всем моем интеллектуализме» [2, с. 702]. Здравый смысл, твердая жизненная позиция, позволяющая разумно объяснить все происшедшее, система четких нравственных ценностей — в этом прежде всего нуждались многие польские художники, пережившие тяжелые годы оккупации, когда рушились их прежние представления о гуманизме и справедливости. Этим отчасти можно объяснить то, что в первые послевоенные годы чрезвычайно широкое распространение в среде польских писателей получил марксизм. Не всеми он был понят глубоко. Для некоторых он явился лишь средством, благодаря которому они могли легко раскладывать действительность на составляющие в логичные и даже оптимистические схемы. Эти художники отвернулись от марксизма почти столь же быстро, как и приняли его. Для тех же, кто шел к марксизму через переосмысление собственных представлений о жизни, этот процесс происходил совсем не просто. Так, Т. Бреза впоследствии вспоминал: «Я стал много читать, пересматривать свои взгляды, спорить сам с собой. И вновь, и вновь приходилось с собой бороться, преодолевать сопротивление интеллектуального объективизма» [2, с. 702].

Идейно-художественная эволюция Т. Брезы чрезвычайно характерна для польской литературной жизни первых послевоенных лет. К этому моменту имя писателя было уже достаточно широко известно. Еще в 1936 г. он дебютировал вполне зрелым романом «Адам Грывалд», в котором провел скрупулезное психологическое исследование внутреннего мира героя, опираясь на модное в то время в Польше учение З. Фрейда и его последователей.

Уже в первом романе Брезы намечались некоторые черты, характерные для всего его творчества: острая восприимчивость к интеллектуальным веяниям времени, философская глубина, афористичность стиля и — главное — постоянный, напряженный интерес к психологии личности. Но если в «Адаме Грывалде» этот интерес еще в значительной степени — самоцель, то в дальнейшем творчестве писателя психоанализ используется для раскрытия характеров героев, истинных мотивов их поведения, внутренней сущности, отличающейся от тех масок, которые они на себя надевают.

Главное направление развития таланта Т. Брезы связано с переходом от проблематики «личность — личность» к проблематике «личность — общество», с усилением социального и политического звучания его произведений. Это было вызвано переоценкой места человека в мире, тех сил, которые определяют его поведение и поступки. «События минувшей войны поставили перед писателями целый ряд новых проблем в плане ценностей и мировоззрения, — отмечал Ст. Буркот. — Окажутся ли известные психологические теории, их методы познания и описания внутренних переживаний личности пригодными для того, чтобы распутать тот клубок проблем, который создала история? Зигмунд Фрейд, основоположник психоанализа, по свидетельству С. Цвейга, пытался объяснить nagнетающиеся события в Европе своей второй теорией личности, он подчеркивал, что „врожденный инстинкт уничтожения, стремление к варварству неискоренимы в человеке“. Фатализм этой формулировки не объяснял, од-

нако, ничего из того, что ожидало людей в концентрационных лагерях, на полях сражений, в охваченной террором Европе» [3].

Уже в первом послевоенном произведении, романе «Стены Иерихона», Бреза отказывается от самодовлеющего психоанализа, от попыток объяснить поведение и судьбу человека исходя лишь из его личных, внутренних качеств. Писатель, по его собственным словам, совершает попытку «соединить достоинства политического и психологического романов» — «политического, потому что мое поколение было насквозь политично, и психологического, потому что обычных жизненных аргументов было недостаточно, чтобы нас объяснить» [2, с. 69—70]. Творчество Брезы 40-х годов органически продолжает традицию, с одной стороны, социально-политического романа, достигшего наибольших успехов в 20-е годы (С. Жеромский, А. Струг, З. Налковская, Ю. Каден-Бандровский), а с другой стороны, психологической прозы 30-х годов, обогатившей польскую литературу талантливыми произведениями Я. Ивашкевича, З. Налковской, В. Гомбровича, Б. Шульца и др.

Действие «Стен Иерихона» и «Неба и земли» происходит в течение нескольких месяцев 1938 г., единый законченный сюжет отсутствует. Диалогия состоит из множества отдельных сцен, самостоятельных сюжетных линий, ни одна из которых также не доведена до конца. Как и в «Адаме Грывалде», Бреза не уделяет особого внимания фабуле, считая, что совершенно необязательно «вписывать героев в действие, которое в сущности только отвлекает от самого главного» [2, с. 89]. Что же самое главное в диалогии Брезы? Это прежде всего панорама политической борьбы в среде ~~самых~~ правителей, показанной изнутри — через анализ их психологии и мировоззрения. Писатель не стремился к созданию исчерпывающей картины политической жизни страны, поэтому, в частности, такое небольшое место в диалогии уделено деятельности коммунистического подполья. К тому же именно в 1938 г. Польская коммунистическая партия была распущена по несправедливому (как выяснилось позднее) обвинению Коминтерна. В 40-е годы, когда писалось произведение, Бреза еще не мог объективно оценить ситуацию. Итак, помимо коммунистов, которые только в самом конце второго тома «Неба и земли» выходят на передний план, в диалогии действуют три основные политические силы. Во-первых, «старая гвардия», обладающая реальной властью и состоящая в основном из бывших легионеров Пилсудского. Вторую группу составляют молодые правительственные чиновники, убежденные, что «все сегодняшние правители потихоньку, один за другим, полетят, станут посмешищем, обанкротятся, вымрут» [4, с. 130] и тогда настанет их час. Они считают себя профессиональными политиками и уверены в своих силах — ведь на их стороне все: «чистые» руки (дорогу для них расчистило старшее поколение, и им лично не пришлось идти по трупам), хорошие манеры, серьезное образование, полученное в лучших европейских университетах. Некоторые из них уже решительно пробиваются вперед, наступая на пятки «старикам», иные еще только ждут случая, чтобы при первой возможности занять освободившееся кресло. В состав третьей группировки входит молодежь профашистского толка, объединившаяся вокруг своего вождя Папары в террористическую организацию. Они проповедуют культ силы, для демонстрации которой устраивают еврейские погромы; стремясь захватить государственную власть, собирают компрометирующие материалы на высших чиновников, готовят псевдопокушение на Папару, дабы привлечь к себе широкое внимание общественности и снискать поддержку правительства, обвинив в нападении коммунистов. Эти три группы и противостоят друг другу в диалогии. Однако их «противостояние» мнимое. Они легко вступают как в личные, так и в деловые контакты, готовы на любые сделки и соглашения. Их борьба заключается лишь в том, что каждый стремится оттеснить остальных от сладкого правительственного пирога, с тем чтобы ухватить для себя кусок побольше. Нет принципиальных расхождений и в политических программах этих трех группировок, более того, в них прослеживается определенная преемственность. Даже крайне «правая» ориентация фашиствующей молодежи —

по сути логическое развитие политики правящих кругов. Бреза показывает, что фашизм появляется сначала не в виде идеологии, а как стиль правления, свидетельствующий о слабости государства, о беспособности руководства удержать власть, сохранения демократическую законность. И уже после того, как правящая группа начинает активно пользоваться его методами, молодое поколение провозглашает фашизм своим идеалом. Пилсудский для них — это «своего рода Иоанн Креститель», «первый набросок, который вот так, для себя, сделала натура, перед тем, как создать гениального пророка» [4, с. 75]. А санация — «санация была какой-то черновой доктриной, в которой угадывались очертания абсолютной и героической власти» [4, с. 75].

Стремление соединить в диалогии достоинства политического и психологического романов обусловило и решение одного из главных вопросов построения произведения — соотношения позиций автора, повествователя и героя. Перед писателем стояла довольно сложная задача: с одной стороны, сама проблематика диалогии требовала четкой идейной оценки описанных событий — политический роман не может не быть тенденциозным. А с другой стороны, слишком прямо высказанная авторская идея способна погубить психологическое произведение. Бреза сумел найти очень интересный путь решения этой проблемы: автор в «Стенах Иерихона» и «Небе и земле» полностью солидаризируется с повествователем, который стоит над изображаемым миром (что крайне важно для выражения оценки). Его «всезнание» значительно превышает даже тот объем сведений, которыми располагал «всезнающий» повествователь XIX в. — ему известны не только все события, которые происходили, происходят или произойдут, но и самые тайные желания и побуждения всех без исключения персонажей. Но в романах лишь формально присутствует один повествователь. Реально же их значительно больше: ими поочередно являются почти все участники действия, обладающие суммой знаний, несравненно меньшей, чем тот повествователь, о котором шла речь. Переданные в форме несобственно-прямой речи их размышления, внутренние монологи, обрывки «потока сознания» представляют собой ту точку зрения, с которой в данный момент ведется рассказ. Автор выступает одновременно и как режиссер, дающий слово то одному, то другому персонажу, и как судья, оценивающий их внутренний мир, поскольку пересказанный характер скрытых от окружающих, но известных автору-повествователю размышлений героев позволяет Брезе выражать свою оценку через способ пересказа и отдельные иронические комментарии. Таким образом, в «Стенах Иерихона» и «Небе и земле» в каждый момент времени присутствуют две точки зрения: одна — того персонажа, через восприятие которого показывается сейчас происходящие события, и вторая — автора-повествователя. Единственное исключение из этого правила связано с выведением на передний план коммуниста Яна Дикерта. Его внутренний мир открывается читателю не благодаря «всезнанию» повествователя, а в ходе прочтения дневника Дикерта офицером разведки Козицем. Бреза предоставляет этому дневнику говорить самому за себя; авторские комментарии отсутствуют, а оценка высказывается косвенным путем — контрастным сопоставлением взглядов Козица, Скирлинского, Ельского и других, уже скомпрометировавших себя в глазах читателя, и Яна Дикерта. Во всех же остальных случаях авторская точка зрения не только открыто представлена, но и открыто доминирует. Это достигается, во-первых, изначально заданным неравноправием персонажей и повествователя — последний обладает куда более полным и объективным пониманием происходящего. И, во-вторых, последовательной дискредитацией каждого из получающих слово действующих лиц (линия коммунистов и дневник Яна Дикерта и здесь исключение).

Сопоставление точек зрения автора-повествователя и персонажей происходит главным образом в плане психологии и оценки. В пространстве и времени автор также не ограничен рамками мышления героев: он часто возвращается к их близкому и далекому прошлому, вставляя

описываемый через сознание одного из них эпизод в контекст причинно-следственных связей. Противопоставление автора-повествователя и героев отсутствует лишь в области фразеологии. Вряд ли тут нужно доверять самому Брезу, объяснявшему это тем, что «чересчур сложно переводить все, что должно быть сказано, на язык правдоподобия» [2, с. 86]. Язык обоих романов, включая и диалоги, и даже внутренние монологи, интеллектуально насыщен, полон афоризмов, которые скорее сигнализируют авторское присутствие, нежели отвечают реальным мыслительным возможностям персонажей. Думается, фразеологическая однородность повествования связана со стремлением автора указать на пересказанный характер этих бесед и размышлений.

Высокая общественная значимость поставленных в диалогии социально-политических и нравственных проблем ориентировала Брезу на создание предельно рациональной, полной и детерминистичной системы психологической мотивации, позволяющей читателю максимально понимать происходящее. Бреза в этом смысле является неким антиподом другого мастера психологической прозы — Я. Ивашкевича. Действительно, если автор «Солнца в кухне», «Потерянной ночи» или «Возвращения Прозерпины», сомневающийся в возможности познания причин определенного поступка человека как им самим, так и другими людьми, был склонен уделять большое внимание внешне бессмысленным, невыгодным действиям, то Брезу в диалогии интересует именно психология корысти и выгоды. Ивашкевич акцентирует элемент случайности, непредсказуемости в выборе героем того или иного решения, Бреза же, напротив, сводит эту случайность к минимуму. Ситуации в «Стенах Иерихона» и «Небе и земле» могут возникать самые неожиданные, но в рамках этих ситуаций поступки героев, как правило, взвешенные и продуманные, продиктованы личными интересами. Бреза выводит на рациональный уровень даже подсознание, обнаруживая и там все ту же готовность пойти на что угодно во имя достижения корыстных целей. Если у Ивашкевича в ряде рассказов цепочка автор — герой — читатель выстроена таким образом, чтобы вызвать у читателя вопрос: почему герой поступил так? — вопрос, на который он не получит однозначного ответа, то у читателей диалогии Брезы такой вопрос даже не успевает сформироваться. Задолго до самого поступка автор дает его исчерпывающее объяснение.

Каждый из персонажей ведет свою игру; порой, один из них может не понимать планов другого. Но благодаря полному раскрытию автором-повествователем внутреннего мира героев, читатель имеет возможность распутать оплетающую их сеть интриг и разобраться в намерениях каждого из них. Так, например, старательно ищет зацепки во внешне безупречной карьере Черского организация Папары — это дало бы ей большой козырь в борьбе за власть. Заинтересован в низвержении полесского воеводы и министр Яшча, чтобы увести у того престижную любовницу Завишу. Нуждающийся в деньгах брат Завиши тем временем помогает готовить псевдонападение на Папару. В профашистскую организацию входит и княжна Кристина Медекша, а влюбленный в нее Ельский, используя свои связи, пытается помочь ее отцу вернуть бывшие роскошные земельные владения; Ельский надеется таким образом отвлечь Кристину от опасного увлечения политикой. Дело даже трогается с места, но не из-за заступничества Ельского, а потому что Яшче нужно упрочить позиции своей будущей любовницы, танцовщицы Завиши. За возврат земель он хочет добиться брака Завиши с престарелым князем Медекшей. Ельского тем временем шаптакерирует бывший министр Костопольский, которому нужна его помощь, чтобы сбежать за границу с награбленными миллионами: Костопольскому известно, что в юности Ельский заигрывал с левыми. А пока, чтобы скрасить ожидание необходимого дипломатического паспорта, бывший министр затевает любовную интрижку с женой одного из крупных промышленников. Любовные связи возникают и распадаются, главным образом из конъюнктурных и престижных соображений. Уже почти решен вопрос о женитьбе Бубы Черской и Генрика Дикерта, когда внезапный арест его брата, коммуниста Яна Дикерта,

меняет дело. Буба отказывает Дикерту, не зная, что и ее собственное положение пошатнулось: член организации Папары Сач нашел бумаги, из которых следует, что ее отец изрядно пополнил свой карман за государственными счетами. Сач, впрочем, действует не столько в интересах организации, сколько в своих личных. Он влюблен в Аню Смукку, которая жаждет отомстить за смерть отца, погибшего от руки Черского.

Приведенные примеры — далеко не полный перечень сюжетных линий, которые, переплетаясь и образуя разнообразные конфигурации, составляют событийный мир. При этом изображения самих событий в романах практически нет, они остаются «за кадром». Все произведение — один большой разговор, а точнее, множество малых — разговоров, встреч, собраний, свиданий, во время которых либо планируются какие-то действия, либо обсуждаются их результаты. Главное место в ряду таких встреч-разговоров занимает бал в доме промышленника Штемлера. Это, пожалуй, вообще центральная сцена не только «Стен Иерихона», где она занимает более трети объема, но и всей дилогии — и в проблемном, и в композиционном смысле. Словно по законам классицистского единства места, времени и действия, практически все герои произведения на один вечер собрались в одном доме, чтобы продемонстрировать свои жизненные позиции, интересы и политические убеждения. Такое использование сцены бала, как неоднократно отмечалось и в польской, и в советской критике, восходит к национальной литературной традиции. «Дядя А. Мицкевича», «Свадьба С. Выспянского», «Озимь В. Берента», «Узлы жизни» З. Налковской — во всех этих произведениях подобные приемы были местом столкновения различных точек зрения на будущее страны в переломные моменты ее истории. Нельзя не вспомнить и «грандиозный бал в столице» [5, с. 129], описанный Ю. Тувимом. Его действие также происходит в конце 30-х годов; и по составу приглашенных лиц, и по общей атмосфере он очень напоминает вечер у Штемлеров:

Позументы, ленты, звезды
И султаны,
Полномочные бульдоги,
И терьеры,
И бурбоны, и меха,
И камергеры,
Графы, геринги, накидки,
Адъютанты,
Дюки, викинги, лампасы,
Аксельбанты,
Адмиралы, обиралы,
Принцы крови,
Морды бычьи и коровьи... [5, с. 131]

(«Бал в опере», перевод Д. Самойлова)

«Бал в опере» вообще очень интересно сравнить с дилогией Брезы, в них немало общего. Та же проницаемость (доходящая у Тувима до сатирического гротеска) по отношению к разлагающейся элите общества, тот же принцип «мгновенной фотографии», схватывающей наиболее типичные черты «шойманной врасплох» публики, то же стремление к панорамности и широкому социальным обобщениям. Есть, однако, и существенные различия — помимо того, что поэма Тувима в силу своей художественной формы куда более эмоциональна, а проза Брезы аналитична. Главное отличие связано с временем написания этих произведений. «Бал в опере» возник в последние годы существования санационной Польши. Это, по удачному определению И. Колташевой, «поэма-гротеск, издевательский реквием безумному миру, который стремительно и неудержимо мчится в преисподнюю небывалого военного катаклизма» [6]. Тувим, писавший свою поэму перед самой войной, издевался, предсказывал, предостерегал. Брежа, приступивший к работе над «Стенами Иерихона» в 1940 г., уже знал: в первые же дни сентября 1939 г. военно-правительственная вер-

хушка сбежала за границу; шел второй год оккупации. В задачу писателя не входило выносить приговор старому миру — это уже сделала сама история. Политический смысл дилогии Брезы в другом: автор старается понять жизненные позиции и мотивы поведения тех, кто привел страну к краху. «Мы заинтересованы в мире, а правительство Славоя поощряет пропаганду войны против Страны Советов. Нам грозит нашествие фашистов, а правительство делает все, чтобы облегчить им захват Польши. Что это — глупость или преступление? Это преступная глупость, это глупое и чудовищное преступление» [7], — говорит герой романа Е. Путраманта «Действительность». У Брезы мы не встретим такого типа «прозрений», однако всем ходом повествования он приводит читателя к не менее страшному выводу: правительство просто не интересуется судьба страны. Поступки правящих кругов определяют исключительно личные — денежные, карьерные, иногда любовные — соображения. И если Тувим в гротескной манере рисует картину грядущего Страшного Суда, то Бреза, ставший свидетелем этого, действительно страшного, суда истории, стремится к строгой реалистичности повествования в дилогии, первую часть которой он, также обращаясь к библейской символике, называет «Стены Иерихона». Взгляд писателя нацелен не в будущее, как у Тувима, а в прошлое. Его интересует механизм власти, психология и идеология правящих кругов, те формы жизни, которые оказались несостоятельными и рухнули при первых звуках военных труб.

Уже в 1946 г., т. е. сразу после выхода из печати первой части дилогии, на книгу появились десятки рецензий. Критика отмечала острую актуальность романа, выразительность его образной системы, остроумный, насыщенный афоризмами язык. Обращалось внимание и на творческую эволюцию писателя. «Автор „Адама Грывалда“ несравненно вырос, — писал в 1946 г. Ю. Серадакий. — Огонь пожара, через которое мы прошли, был огромен. Он погубил многое и многих; в нем созревали таланты и мысли» (цит. по [8]). Широкий отклик на «Стены Иерихона» был закономерен: разоблачение антинародной политики лагеря «санации» имело в 40-е годы чрезвычайно актуальное значение — и как осмысление уроков истории, и как воспитательный фактор, поскольку в первые послевоенные годы часть населения еще продолжала хранить верность Лондонскому правительству. В условиях острой идеологической борьбы появилось реалистическое произведение, правдиво раскрывающее сущность реакционной деятельности властей в буржуазной Польше. В 1946 г. роману была присуждена самая почетная литературная премия того времени — премия общественно-литературного журнала «Odrodzenie» за лучшее прозаическое произведение, вышедшее из печати после 1 сентября 1939 г. В этом конкурсе «Стены Иерихона» выдержали конкуренцию таких значительных произведений, как «Боденское озеро» Ст. Дыгата, «Дым над Биркенау» С. Шмаглевской, «С баррикады в долину голода» М. Русинька, «Из страны молчания» В. Жукровского и др. Однако часть критиков высказывала недовольство по поводу углубленного психологизма, «микropsихологизма», произведения, по поводу неполноты исторической картины и, по их мнению, нечетко выраженной авторской оценки. На фоне общих литературных дискуссий роман Брезы, как указывает Я. Белкот, стал «аргументом за или против психологизма, реализма и т. п.» [9, s. 147]. Психологизм и реализм вообще часто противопоставлялись в литературной критике того времени. Сегодня очевидна неправомерность такого противопоставления, о чем верно писал уже в те годы Т. Бреза: «Психологизм чрезвычайно важен при изучении образа мышления людей... Я являюсь сторонником реализма, с той оговоркой, что если реализм понимать лишь как описание событий внешнего мира, то такой реализм не сумеет верно отразить мир, в котором помимо внешней стороны, есть еще и сторона внутренняя» (цит. по [9, s. 141—142]). Время доказало правильность точки зрения писателя.

В исторической недостоверности упрекали писателя некоторые польские (см., например, [10]) и советские [11] критики, считавшие недостатком произведения то, что Бреза «не представил подлинного соотношения

сил, избрав героями романа исключительно представителей правого лагеря...» [11, с. 37]. Главная ошибка этих критиков заключалась в том, что они анализировали диологию, исходя из стереотипного представления о политическом романе, высказывая свои соображения не столько по поводу того, что писатель стремился создать или создал, сколько по поводу того, что он, по их мнению, «должен был нарисовать» [11, с. 37]. А традиционными политическими романами «Стены Иерихона» и «Небо и землю», действительно, никак нельзя было назвать.

Подводя своеобразный итог дискуссии на тему того, «политический» роман «Стены Иерихона» или «психологический», К. Выка очень хорошо сформулировал: «...это роман о политике с акцентами, проставленными на психологических мотивах» [12, s. 196]. С позиции сегодняшнего читателя, это определение можно слегка модифицировать — это скорее психологический роман о политиках, поскольку и противоборство основных политических сил, и деятельность партий и группировок отражены у Брезы не прямо, а косвенно, путем глубокого проникновения во внутренний мир отдельных их представителей. Такой подход никак не мешает писателю в создании широкой картины умонастроений различных кругов. Как верно отметил тот же Выка, «угол зрения, под которым Бреза смотрит на элиту, на министерские круги, на формы политической игры, намеренно узок, но картина мира, увиденная под этим углом, отнюдь не мала» (цит. по [13, s. 198]).

В диологии присутствуют и подлинные исторические события. Так, например, начинается она со сцены тайных похорон останков короля Станислава Августа Понятовского, до этого покоившихся в России и переданных в 1938 г. Польше советским правительством. Это событие имело место в реальной действительности и вызвало широкую дискуссию в польской прессе конца 30-х годов. Она была посвящена тому, где должны покоиться останки последнего польского короля. Дело в том, что незадолго до этого в традиционной усыпальнице польских королей на Вавеле был похоронен Ю. Пилсудский, и правительство не считало возможным, чтобы в непосредственном соседстве от него находилась могила «короля-руссофила», «короля-предателя» Понятовского. Резко и язвительно высмеивал такую позицию Т. Бреза, принявший участие в анкете на эту тему, организованной еженедельником «Wiadomości Literackie». «На деле надо бы после каждого великого короля на новом месте Вавель строить... Получается так, что Пилсудского похоронили на Вавеле, потому что там лежат короли, а короля в то же время там похоронить нельзя, потому что там лежит Пилсудский» (цит. по [9, s. 151]). Бреза развивает эту мысль в своей диологии, он выступает против пренебрежительного отношения к национальной истории, против тех, кто, подобно офицеру разведки Козицу, считает: «История — это хорошо для магистрата. Названия для новых улиц. А так!» [4, с. 21]. Горестно-иронически заканчивается в «Стенах Иерихона» сцена похорон короля в усыпальнице волчинского костела, возле имения, где он родился. «Вот ведь кого растрогало прибытие на родину останков короля. Мужика да собаку» [4, с. 51], — произносит князь Медекша (ему отчасти переданы в этой сцене рассуждения самого писателя), убедившись, что его либерально-гуманистические взгляды не разделяются никем из присутствующих чиновников и вой собаки да молитва деревенского солтыса останутся единственными проявлениями чувств на этой церемонии.

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся критиками в связи с диологией Брезы, было изображение в диологии коммунистического подполья, в частности, Яна Дикерта. По своему происхождению он принадлежит к той же среде «новой аристократии», что и большинство действующих лиц. Ставя во главу угла правду характера, Бреза показывает, что приход молодого Дикерта к коммунистам был связан не с последовательными политическими убеждениями, а прежде всего с отторжением собственного круга, с неприятием принятых в его среде жизненных установок. По первоначальному замыслу писателя, который воплотился в «Стенах Иерихона», Ян Дикерт должен был оставаться на втором плане

повествования — как указание на то, что в стране действовали и иные силы. Поскольку произведение было посвящено анализу высших слоев общества, деятельность и умонастроения пролетариата могли быть отражены лишь косвенно. Именно для этого писателю был нужен образ коммуниста-интеллигента, так как в художественном плане он позволял обозначить более широкую перспективу политической жизни предсентябрьской Польши. В. Хорев верно отметил, что «одно только упоминание о Дикерте-коммунисте позволило Брезе довольно полно показать антикоммунизм режима санации, беспощенность притязаний на власть молодого поколения пилсудчиков, их антигуманизм» [13]. Но по ходу работы над диалогией авторский замысел несколько изменился и в конце второго тома «Неба и земли» Бреза вывел Яна Дикерта на передний план, фактически передав ему функции положительного героя, до этого в диалогии отсутствовавшего. В последней сцене романа арестованный Дикерт, которому грозит суд и тюрьма, решительно отменяет предложение офицера разведки, заинтересованного в том, чтобы незаметно отправить отпрыска «хорошей семьи» за границу и таким образом избежать скандала. Моральная победа остается за Дикертом.

Марксистская критика начала 50-х годов высоко оценила последние главы «Неба и земли», объявив их лучшей частью диалогии. Однако уже через несколько лет, в ходе общей переоценки литературы и критики первого послевоенного десятилетия, именно эта часть произведения Брезы была названа творческой неудачей писателя, связанной с его уступкой требованиям догматической критики 40-х годов. Вторая часть диалогии действительно писалась в период, когда администрирование и прямые указания, как и о чем надо говорить в произведении, начали подменять квалифицированный анализ и творческие дискуссии. И вряд ли Бреза мог избежать этого влияния. Думается, тем не менее, что линия коммунистов в «Небе и земле» отражает не только давление на писателя внешних обстоятельств, но и определенные изменения, которые претерпело его мировоззрение. Об этом свидетельствует, в частности, дальнейшее развитие его творчества.

Переход от анализа и отрицания — в диалогии — к утверждению позитивных ценностей в «Валтасаровом пире» (1952) был закономерен. Писателю необходимо было противопоставить созидательный характер новой действительности разрушительным тенденциям, господствовавшим в политической и общественной жизни довоенной Польши. Для этого Брезе потребовался и положительный герой, которого не было ни в «Адаме Грывалде», ни в «Стенах Иерихона» и который появился во втором томе «Неба и земли» и «Валтасаровом пире». Тем не менее, если обратиться к диалогии в целом, очевидно, что образ Яна Дикерта плохо вписался в уже почти законченное произведение. Положительный герой получился, если можно так выразиться, слишком положительным. Создание его образа потребовало от писателя изменения манеры изложения, поскольку разоблачительный «всепроникающий» психологизм «Стен Иерихона» и большей части «Неба и земли» не годился для этого. В итоге характер Яна Дикерта вышел довольно схематичным и бесцветным — особенно на фоне колоритных «отрицательных» персонажей. В произведениях, написанных в первой половине 50-х годов, отход Брезы от психологизма еще более осязателен. Процесс депсихологизации литературы вообще очень характерен для польской прозы конца 40-х — начала 50-х годов. Однако, связанный в значительной степени с давлением критики, он не мог рассчитывать на долгую жизнь.

Обвинения в асоциальности и нравственном релятивизме, которые выдвигались в адрес психологизма, опровергла сама литературная практика — проза Я. Ивашкевича, З. Налковской, Ст. Дыгата, Т. Брезы и многих других. В ряду таких произведений, сочетающих социально-исторический и психологический подход к миру и человеку, диалогия Брезы занимает одно из наиболее почетных мест. Это произведение, органически входящее в литературу «расчетов с прошлым», сумело сохранить актуальность и по сей день — благодаря своей философской глубине, много-

проблемности и широте охвата социально-психологических вопросов действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Навроцкий В.* Класс, идеология, литература. М., 1986.
2. *Breza T.* Notatnik literacki. Warszawa, 1956.
3. *Burkot St.* Psychologia behawiorystyczna a proza współczesna.— Ruch Literacki, 1978, № 4, s. 223.
4. *Брега Т.* Стены Иерихона. Лабиринт. М., 1985.
5. *Тувим Ю., Броневский В., Галчинский К.-И.* Избранное. М., 1975.
6. *Колташева И.* О поэзии Юлиана Тувима.— В кн.: Писатели Народной Польши. М., 1976, с. 52.
7. *Путрамент Е.* Действительность. М., 1948, с. 19.
8. *Drewnowski T.* Breza. Warszawa, 1969, s. 47.
9. *Belkot J.* Rozpad i trwanie. Łódź, 1980.
10. *Kierczyńska M.* Spór o realizm. Kraków, 1951.
11. *Живов М.* Литература новой Польши в борьбе за реализм.— Славяне, 1948, № 9.
12. *Вука К.* Pogranicze powieści. Warszawa, 1974.
13. *Хорев В.* Лабиринты политики и психологии.— Иностранная литература, 1986, № 3, с. 236.



МИХАЙЛОВСКАЯ Н. Г.

КОНТАКТЫ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ ВИКТОРА КОЗЬКО «СУДНЫЙ ДЕНЬ»)

Вопросы взаимодействия языков, имеющих общий генезис и сохранивших сходство в грамматике и лексике, неоднократно рассматривались применительно к русскому, украинскому и белорусскому языкам. Лингвистическая интерпретация этих вопросов обычно ведется в сравнительно-сопоставительном аспекте, актуализирующем дифференциальные признаки на разных уровнях языковых систем. Это, в свою очередь, дает выход в культурно-речевую проблематику, связанную с ситуацией билингвизма как реализованной возможностью владения вторым языком отдельным индивидуумом, социальной группой или этноколлективом. Вопросы культурно-речевой практики на втором языке часто решаются в плане негативного влияния родного языка, вызывающего нарушения норм второго языка. Здесь, на наш взгляд, существенным является то, что оценка «правильно-неправильно» применяется прежде всего к фактам, наблюдаемым в устной речи и в письменных работах учащихся национальных школ и вузов, т. е. данная оценка, по крайней мере по охвату лингвистическими и лингводидактическими исследованиями, имеет некоторые ограничения.

Несомненно, что сферы использования второго языка, связанные с такими областями культуры, как периодическая печать и художественная литература, обладают своими специфическими чертами, сравнительно и со сферой преподавания, и со сферой устной разговорной речи. Эта специфика проявляется в том, что оценка «правильно-неправильно» (как первая ступень культуры речи) выступает в качестве подчиненной величины по отношению к подчиняющей — к оценке «целесообразно, уместно, выразительно» (как второй ступени культуры речи). Иначе говоря, само нарушение норм второго языка может быть осознанным, намеренным и, при определенных обстоятельствах, целесообразным.

Материал, позволяющий анализировать влияние одного языка на другой с учетом взаимосвязи обеих ступеней культуры речи, представлен художественными произведениями писателей Украины и Белоруссии, в первую очередь, произведениями, созданными авторами на русском языке или переведенными авторами на русский язык¹. Разумеется, некоторые особенности украинского и белорусского языков сохраняются в русском переводе, осуществленном не только автором, — обычно в прямой речи персонажей. Но могут ли эти особенности непосредственно

¹ В настоящей статье не ставится задача специально рассмотреть явление самоперевода в современной советской литературе. Отметим лишь, что авторский перевод, по мнению большинства писателей, практикующих данную форму творчества, — это «пересоздание» текста, при котором возможны некоторые модификации в сюжете и композиции.

сопоставляться с индивидуальной манерой писателя, с его идиостилем? Могут ли элементы лексики украинского и белорусского языков, включенные в русский перевод, рассматриваться как характерные для автора образные и выразительные ресурсы? Думается, что утвердительный ответ далеко не беспосредственен.

В лингвистических трудах, как известно, привлечение художественных текстов практикуется чрезвычайно широко. В этом отношении исследования, посвященные контактам русского языка с украинским и белорусским, не являются исключением. Так, например, в книге [1] в качестве иллюстраций использования украинизмов и белорусизмов в русской речи приводятся контексты из произведений современных писателей. В частности, белорусизмы распределены по грамматическим классам: а) названия лиц, предметов домашнего обихода, построек и их частей, одежды, утвари, продуктов питания, вещей, материалов и пр. (*бульба, грубка, тата* и др.); б) имена прилагательные (*гонорливая, цыбастый* и др.); в) глаголы (*робить, ховаться* и др.); г) отдельные наречия и наречные слова в функции сказуемого (*вельми, треба, трошки* и др.); д) местоимения, частицы, междометия (*абы, калля, нехай* и др.) [1, с. 255 — 257]. Подобная лексика, как указывают авторы, свойственна в значительной степени ряду русских говоров; некоторые белорусские слова в современном русском языке имеют статус просторечия, тогда как в белорусском они лишены стилистической маркированности [1, с. 257]². При таком подходе художественный текст выступает как источник для инвентаризации белорусизмов, которые в той или иной степени могут сопоставляться с диалектными данными и лексикографическими свидетельствами русских толковых словарей.

Иной подход к рассмотрению лексики белорусского языка осуществляется с позиций оценки ее функционирования в русскоязычном художественном произведении, т. е. с точки зрения ее уместности и целесообразности. Такой анализ был предпринят А. А. Гирудким в работах, посвященных рассмотрению белорусской лексики в русских поэтических переводах с белорусского [3; 4]. В русских прозаических текстах функции белорусизмов, в основном в плане отображения местного колорита и индивидуально-речевой характеристики персонажей, рассматривались А. М. Тикоцким. Автор, в частности, касается некоторых особенностей стиля Виктора Козько и замечает: «Совсем иной характер носят белорусские языковые вкрапления в речевую ткань повести „Темный лес, тайга густая“ В. Козько, живущего в Белоруссии. Они никак не вытекают из сюжета повести, поскольку действие в ней происходит в Сибири, персонажи ее — жители таежных сибирских деревень. Тем не менее в ней встречаются белорусские слова и словоформы». Этот факт А. М. Тикоцкий объясняет влиянием «белорусского языкового окружения на язык писателя» [5].

Существенным обстоятельством является и то, что сам Виктор Козько — писатель-билингв, самоперевод в его творчестве занимает заметное место. Суждения писателя о самопереводе относятся к истории создания повести «Судный день»: «Во мне сплелись и заспорили два языка, две языковые стихии. Я закачался, как лодка на море в добрую волну. Один и тот же текст одновременно прокручивался мысленно на двух языках, близких и родных. Ни одному из них не было абсолютного предпочтения. За русским стояла половина жизни — сознательное начало ее, все до боли мое, все, что было и чего даже не было со мной: Сибирь, ФЗО, шахта, геологоразведка, тайга, журналистика, тома классиков; за белорусским — детство, небо над головой, корни, первое услышанное и произнесенное слово, слово, которое шестнадцать лет снилось мне и в Сибири (...) „Судный день“ писался одновременно на русском и на белорусском языках Там, где шло впитанное с детства, где мне ничего не надо было придумать»

² Особую проблему составляет изучение лексической общности и дифференциации русского украинского и белорусского языков. Как указывает Ф. П. Филин, «белорусский язык по своим словарным особенностям стоит ближе к русскому языку, чем украинский, занимая среди восточнославянских языков срединное положение» [2].

вать, а только вслушиваться в себя, там возникал белорусский, а где необходимо было приподниматься над материалом, осмысливать рассказанное, — русский» [6, с. 247]. Приведенное высказывание можно рассматривать как своеобразное «введение» к лингвистическим наблюдениям над языком и стилем повести «Судный день» (цитируется ниже по изданию [7]), тема и сюжет которой связаны с Беларуссией. Следовательно, использование элементов национального языка является в данном случае заранее предсказуемым.

В проекции на систему русского языка белорусизмы составляют две группы. К первой относятся слова, главным образом знаменательные (существительные, глаголы, прилагательные), не вошедшие в систему русского языка или находящиеся на ее периферии: имена существительные — *батька, хлопец, безбатьковичи, цвиркунь, бусел, быстрак, будан, сакера, шлях* и др.; глаголы — *бачить, заробить, балакать (побалакать), назолять, натягать, кранать, здымать, цурацца* и др.; имена прилагательные — *белявый, сглазливый*. Вторую группу составляют такие существительные и глаголы, которые отличаются от русских эквивалентов фонетической огласовкой, грамматическими формами или словообразовательными элементами: *польмя, голуб, сонейко, сыны, слухать, гинуть, узлезть, порушить, поворотитися* и др. Большинство слов, входящих в эти группы, фиксируются не только в тексте указанного произведения, но и в устной русской речи на территории БССР, а также в русскоязычных текстах различных жанров (см. об этом [1, с. 265]).

С точки зрения композиционно-структурных особенностей использования белорусизмов в составе художественного текста внимание исследователей обычно привлекает их соотношение с авторской речью и речью персонажей, при этом обычно констатируется меньшая характерность национальных слов для первой формы речи и большая для второй. Действительно, аналогичный факт наблюдается и при анализе языка повести «Судный день». Однако следует отметить, что в речи персонажей «одиночное» употребление отдельного белорусского элемента встречается редко, например: — (...) *Их батьки жизни не жалели; — До спасова дня и на костюм себе зароблю*. Сюда же может быть отнесена морфологическая особенность — звательная форма имени существительного в функции обращения: — *Человече, христом-богом тебя заклинаю, отвернись на минутку!*³. Более многочисленны примеры, содержащие два (или несколько) белорусизмов. Именно их сочетание, соединение в одном контексте позволяет передать особенности национальной речи, близкой разговорной. Чаще всего употребление отдельного слова белорусского языка «поддерживается» фонетической огласовкой, грамматической формой или семантическим своеобразием другого слова.

Наиболее показательны контекстные примеры типа: — *Слухай, хлопча, молчи; — Не назоляй мне, хлопча*. Эти два примера не являются вполне идентичными при общности звательной формы одной и той же лексики и одинаковой грамматической модели: первый содержит глагол, который сравнительно с русским эквивалентом (*слушай*) может оцениваться в плане фонетической дифференциации; во втором примере употреблен глагол белорусского языка, фонетически не соотносимый с русским (*назоляй — надобдай*). Сочетание элементов белорусского языка разных уровней наблюдается также в репликах того же персонажа, деда Захарьи: — (...) *Не, Ничипор, меня отсюда краном надо здымать. Умри, Ничипор, молчи до часу... А ты, Летечка, иди, иди. Негоже тебе еще видеть, как люди гинут*. К лексическим белорусизмам относится глагол *здымать* ('снимать'), наречие в функции части составного сказуемого (*негоже*); фонетическое своеобразие белорусской речи отражено глаголом *гинут*, усеченной формой отрицания *не*; семантическая особенность реализуется

³ Как рудимент древнерусского языка звательная форма иногда используется в поэзии с подчеркнутой семантико-стилистической окраской, ср.: *Человек ты мой, / Человек ты мой, / Дорогой ты мой человек!* (Павел Коган).

сочетанием *до часу*, где слово *час* тождественно по значению русскому *время*. Как семантический белорусизм квалифицируется существительное *год*, употребленное в функции обозначения возраста, т. е. в той функции, в которой в русском языке используется существительное *лето* (*пять лет*). Данное словоупотребление фиксируется в контексте, содержащем также и лексический белорусизм, ср.: — (...) *Пять годов работал сторожем на кирпичном заводе. И каждый день по кирпичику. Печь вышла. Думал, на дом каменный натягать, да выгнали.*

В пределах расширенного контекста, манифестирующего монолог, сочетание разноуровневых белорусских элементов организуется в определенную систему, например: — *И дальше, унучак, известно... Человека своего сторонила, сынов выправила воевать, батька твой пошел на войну. (...) Что напраслину узводишь? (...) Прибился ко мне в войну один хлопчик годков восьми, так я за ним доглядала, по хатам ходила, просила куска хлеба до последних его ден. (...) Как мне такое слушать от тебя, Лещечка..., — и баба Зося заплакала. — Я из госпиталя сюда пришла, чтобы глядеть тебя, пригорнулась я сердцем к тебе, ты мне уже как свой. Были у меня и сыны, и внук твоих годков.* Черты белорусского произношения сказываются в словах *унучак*, *узводишь*, где графема *у* передает характерное *ў*, замещающее *в* в начале слова. В качестве морфологических особенностей выделяются формы *сыны*, *сынов* (русское *сыновья*, *сыновей*). На уровне словообразования влияние белорусского языка обнаруживается у глаголов *сторонила* (русское *похоронила*), *выправила* (русское *отправила*). Своеобразие национальной речи отражено также в использовании однокорневых глаголов *глядеть* и *доглядать*: в русском языке одно из значений полисемичного глагола *глядеть* определяется как 'заботиться о ком-, чем-либо, оберегать кого-, что-либо, наблюдать, следить', при этом отмечается стилевая характеристика указанного значения как разговорная и тип управления — твор. падеж имени с предлогом *за* [8]. Тождественное значение реализуется в приведенном примере, но форма управления меняется: зависимое слово (личное местоимение *тебя*) используется в форме винит. падежа. Вместе с тем словосочетание, включающее однокорневой глагол *доглядала* и предложно-падежную форму *за ним*, аналогичное типу управления в русском языке, но сама форма несомн. вида глагола не совпадает с эквивалентной формой русского языка, где используется суффикс *-ыва-* (*доглядывать*), соответствующий белорусскому аффиксу *-а-* (*доглядать*). В сопоставлении с русским языком семантическая дифференциация отмечается у слова *человек*, значение которого в рассматриваемом примере ('муж') является характерным для белорусского и украинского языков. К лексико-семантическим особенностям контекста можно отнести словосочетание *пригорнулась я сердцем (к тебе)*, имеющее переносное значение 'прильнуть сердцем'. Данное сочетание дважды используется в прямой речи персонажа (бабы Зоси), ср.: (...) — *Привезли тебя щепочка щепочкой, и пригорнулась я сердцем к тебе.* Значение глагола *пригорнулась* воссоздается читателем, не знающим белорусского языка, в общем семантико-понятийном ключе, в ориентации на слово *сердце* как символ человеческих чувств.

Как правило, употребление лексических единиц белорусского языка в тексте произведения не сопровождается какими-либо комментариями. В некоторых, сравнительно редких, случаях автор прибегает к лексическому двуязычному параллелизму, реализуемому в границах отдельных реплик. Интересно, что слова русского и белорусского языков могут использоваться как в репликах разных персонажей, так и в прямой речи одного персонажа. Сравним два контекста: 1) — *Топор, — сказал Захарья. — Топор ты мне оттянул, Ульян? — Говорите громче, он не слышит, — снова побал голос мальчишка и отцу: — За сакерой, батька, Захарья пришел;* 2) — (...) *Мы уже никуды не гожи, а топоры еще внукам передадим. А у тебя, Захарья, сакера, так и украсти такую не грех.*

В составе прямой речи семантический повтор иногда захватывает не отдельные слова, а сочетания метафорического характера, например: — (...) Обходи ты эти наши болячки, не крамай наших ран. Подобный параллелизм не обязательно ориентирован на пояснение, он может служить одним из средств выражения экспрессии, особенно тогда, когда устойчивое словосочетание, широко распространенное в русском языке, претерпевает определенную трансформацию. В качестве иллюстрации приведем следующий пример: — А я не верю, что я из земли, не верю, может, я из огня, из польмя и хочу в огонь, обратно в польмя. Стилиевая маркированность формы *польмя* в русском языке определяется как традиционно-поэтическая и народно-поэтическая [9, с. 277], в белорусском же языке эта форма нейтральна. В то же время во фразеологическом сочетании *из огня да в польмя*, бытующем в русской речи, слово *польмя* лишено статуса поэтической единицы: оно противопоставляется семантически близкому *огонь* по количественному признаку, по степени градации. В приведенном же примере фразеологизм разрушается, но его лексическое наполнение остается. Слова *огонь* и *польмя* ставятся в перечислительный ряд, где очередность этих двух слов сохраняет степень градации обозначаемого явления⁴.

В авторской речи форма *польмя* используется рядом с *пламя* в описании одного эпизода без каких бы то ни было дифференциаций в оттенках значений, ср.: *Кузнец в одно летящее движение выхватил из польмя клещами, как рукой, полоску металла (...). [Мехи] весело вливали этот воздух в неистовствующее, сине подпрыгивающее пламя горна.* Общность лексических элементов белорусского языка в прямой речи персонажей и в авторской речи создает своеобразную переключку. Этот факт должен рассматриваться не только со стороны инвентаризации белорусской лексики, но и со стороны ее функций как компонента «словесного ряда» (по терминологии В. В. Виноградова), как активного средства организации структуры произведения.

Так, например, в авторской речи обычно использование существительного *сонейко*: (...) *Сонейце алой лавой обрушилось на дальнюю кромку леса и помчалось по земле.* Наряду с этой лексемой фиксируется и белорусское *сонейко*, ср.: *На земле есть другие мастера, и они до смертного своего часа не расстаются с топором и косой, до последнего вздоха смотрят на сонейко, сколько его отпущено до конца их работы; — Гляди на сонейко в последние дни.* Тот факт, что существительное *сонейко* отмечено и в речи автора, и в речи персонажа, взаимосвязывает категории образа автора-рассказчика и образа персонажа, способствует их «взаимпропонируемости». При этом наблюдается весьма любопытное явление: контексты, содержащие слово *сонейко*, обладают тематическим сходством, ведущим, в свою очередь, к сходству ситуаций употребления и, более того, к сходству сочетаний, в состав которых входит данное существительное. Если слово *сонейко* в приведенном примере выступает в роли элемента пейзажа (мы опускаем в данном случае вопрос об идейно-эстетической и композиционной функции этого пейзажа), то *сонейко* выражает символ жизни в сопоставлении с понятиями смерти.

В некоторых случаях в авторской речи употребляется русский эквивалент той единицы белорусской лексики, которая вводится через прямую речь персонажа. Однако русская лексема не служит ни комментарием к национальному слову, ни его переводом, так как подобный лексический параллелизм часто имеет в тексте значительную дистанцию. Тождественность белорусского и русского слова устанавливается не только в границах лексических систем двух языков, но и в их отнесенности к одному

⁴ В белорусской литературе на понятийной основе «огонь, пламя» развивается художественный образ, имеющий большую идейно-эстетическую значимость и связанный с отображением трагических событий на белорусской земле Великой Отечественной войны, ср. название произведения Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника «Я из огненной деревни...» (пер. с белорусского Д. Ковалева).

объекту, т. е. в границах вариативности, определяемых сюжетно-тематическим критерием. Такой случай отмечен в отношении прилагательных белый — белобрысый: — *Были и у меня дети, полна хата. (...) Белые — под тебя, ушастые — в меня и молоком пахнувшие — в бабу...; А он, Летечка (...) за все воздаст. (...) Соберет всех. Отыщет деда Гуляя, белобрысых, пахнувших молоком Сучков.*

Определенный признак становится характерной чертой для «недействующих» персонажей, т. е. для таких, о которых говорят другие. Этот признак получает свое выражение и в речи автора, и в речи персонажей. Два обозначения «одного и того же» — варианты — не обязательно реализуются на уровне лексики, но могут соотноситься как однокорневые образования, различающиеся аффиксами. Такова вариативность, представленная страд. причастиями укормленный — откормленный. Для более объективного анализа их употребления следует коснуться сюжетной ситуации. В одном из эпизодов, ведущих к кульминации, описан суд над бывшими полицаями. На суде присутствует герой повести Коля Летечка, который в детстве был заключенным в концлагере. Допрос предателя Калягина строится как диалог между судьей и подсудимым: — (...) Появился немец, укормленный, в черном пальто, приказал раздеть людей, поставили их к яме и начали стрелять. (...) — Заключенные как питались? — А я вот не видел, чтобы их кормили. Приезжал немец, укормленный в черном кожаном пальто. Строили заключенных, вроде бы везти домой, в тюрьму, мы строились напротив.

Именно показания Калягина пробуждают у Коли Летечки страшные воспоминания о некогда увиденном и пережитом; эти воспоминания воспроизводят те же события: он видел только откормленного немца в черном пальто, видел черные машины с крестами, видел Калягина в черном. Признак, выраженный вариантами укормленный — откормленный, остается постоянной приметой безымянного карателя. Но если в прямой речи Калягина в качестве другой отличительной черты названо «черное кожаное пальто», то в авторской речи, передающей воспоминания Летечки, то же определение «черный» распространяется и на самого Калягина. Ср. также: Двое в черном, Калягин и укормленный немец, спорят, попасть ли немцу из винтовки в женщину — от них до женщины семьдесят метров. С внешней стороны последний контекст, как и предыдущий, относится к типу авторской речи. Следовательно, вариативность причастий укормленный — откормленный нельзя рассматривать как характерологическую черту авторской речи и речи персонажа. Вариант укормленный в авторской речи обусловлен последовательностью описываемых событий — автор-рассказчик, объединяя Калягина и немца-карателя, — «двоих в черном» — повторяет то определение, которое использует подсудимый в своих показаниях. Взаимосвязь временных пластов — «акции» эсэсовцев и суд, состоявшийся десять лет спустя — передается наряду с сюжетно-композиционными вехами и стабильностью признаков, сопутствующих ретроспективному изложению событий.

В целом ряде случаев двуязычный параллелизм в области номинаций выступает как характерная черта, присущая речи автора-рассказчика независимо от лексических, словообразовательных и морфологических особенностей речи персонажей. Наиболее показательным является использование слов шлях — дорога в нескольких контекстах: В одну сторону булыжник красно упирается в окраину и там (...) переходит в шлях, который связывает Слободу с большими гордами. И едоль этой дороги, возвышаясь над хвойным подростом, бегут, бегут телеграфные столбы; Шлях, зоть он и стремился к нему, был чужим. (...) Но лес пугал еще больше. Он вышел из кустов, шагнул к дороге. (...Он досерился шляху, словно вступил в некий магический круг. (...) Было совсем темно. (...) Но

дорога не терялась в этом мраке⁵. При очевидном семантическом тождестве и отсутствии стилевой дифференциации этих слов в ситуации приведенных контекстов можно отметить своеобразие использования существительного шлях, которое заключается в его позиции в соотношении со словом дорога: в контексте, состоящем из нескольких предложений, каждое из рассматриваемых слов используется в составе отдельного предложения, но существительное шлях предшествует существительному дорога. Отличие между этими лексемами видится также и в том, что иногда слову шлях сопутствует определение деревенский, которое подчеркивает, усиливает национальный характер этой лексической единицы, ср.: Он придет под Азариши в мелкий хвойник (...) пройдет вновь деревенским шляхом; Отголоски этой песни порой слышались и Летечке. Но принять ее, забыться в ней он не мог (...) ко всему же пелось в той песне о песках, о старом деревенском шляхе.

С точки зрения семантического и словообразовательного своеобразия несомненный интерес представляет слово безбатьковичи, которое вступает в отношения лексического параллелизма со словом сироты: И вот эти бабки, дедки и вдовы, не дождавшиеся с войны мужей, тянувшие столько лет после войны на своих плечах внуков, сыновей и дочерей, негибаемые, вдруг в одночасье начали клониться и падать... И снова стали быстро-быстро пополняться детдома сиротами. И это новое сиротство было пострашнее военного. Те, безбатьковичи военного времени, хоть знали, отчего бедуют, а этим и объяснить было невозможно ничего. В образовании слова безбатьковичи, синонимичного сироты, принимает участие суффикс -ович, характерный для патронимических форм. Семантическая мотивация безбатьковичи связана не со словом батька ('отец'), а с формой батьки 'родители', которая свойственна белорусскому и украинскому языкам.

Сравнительно редко писатель прибегает к двуязычному параллелизму, при котором семантически тождественные слова двух языков выступают как однородные члены предложения, например: А баба Зося купила молока у тетки, жившей напротив детдома, за собственные деньги, за гроби, что выплачивали ей за какую-то невероятную должность в детдоме. По всей видимости, использование белорусского гроби в речи автора-рассказчика ориентировано на образ персонажа — бабы Зоси.

Подавляющая часть белорусизмов в авторской речи нацелена на то, чтобы передать типичность, в какой-то мере даже обыденность окружающей действительности, предоставить читателю возможность увидеть родной для автора мир в его повседневности. Белорусское слово выступает как номинация особой приметы, свойственной белорусской природе, быту, труду. Приведем некоторые примеры: И сквозь него [небо] просматривалось все: и рожь, и далекие, крытые соломой хатки (...) и буслиное гнездо на коньке прогнувшейся, поросшей мхом крыши, и сам бусел, на одной ноге неподвижно выстаивающий у своего гнезда, бело-розовый в румяном утре; И забили, запели у печки цвиркунь, тайком пронесенные в фуфайках дедами в этот дождь; Мужики добродушно смеялись, щерили в утреннем или предзакатном розовом солнце желтые зубы. А, бывало, и подсаживали на быстрак, угощали деревенским желтым салом.

Иногда авторская речь приобретает черты несобственно-прямой благодаря не только лексическим единицам национального языка, но их словообразовательным особенностям, передающим отношение к самому обозначаемому понятию, ср.: А на их земле, гибельной, малярийной, проклятой богом, будь то засушливо, будь то потопно, а зернытко и бульбочка выстаивают.

⁵ В качестве лексемы украинского языка слово шлях также фиксируется в одном контексте со словом дорога: Пусть идти ей в ливень, и в стужу, шлях далекий дождями размыт — на минуту свидания, к мужу через горы солдатка спешит. Торопливо сбегает с дороги, вереница машин сторонясь (Л. Вышеславский) [1, с. 236].

Влияние белорусского языка обнаруживается в авторской речи в области образования причастных форм. Так, причастие страд. формы прош. времени *повязанный* в своем образном употреблении соответствует русскому причастию аналогичной формы с префиксом *с-* — *связанный*, ср.: *В других домах по всей Белоруссии были свои Летечки, свои Стаси, свои Козелы, повязанные единой судьбой, единым страшным детством.* Значение всего сочетания определяется как 'объединенные одной участью'. Следует отметить, что в другом контексте то же причастие в прямом значении используется в соответствии с нормами русского языка: *Замерзает повязанный материнским платком мальчишка. Мать идет к сосне, чтобы наломать веток, разжечь костер.*

При использовании глагола *порушить* и краткой формы страд. причастия *порушен* префикс *по-* является эквивалентным префиксу *раз-* в нормативном русском образовании (глагол *порушить* в русском языке толкуется с пометой «просторечное» [9, с. 308]): *И ему хотелось туда, к обжигающему ноги песку, в сумрачную прогладу хвойников. Но Летечка знал, что он туда уже не дойдет. И он смотрел вдаль без грусти и тоски, боясь глупой слезой порушить этот близкий и далекий мир. Но мир был порушен гулом мотора экскаватора.* В контексте глагол *порушить* и страд. причастие *порушен* связаны с выражением чувственного осознания мира, которое идет в двух направлениях — в направлении зрительного восприятия (при использовании формы инфинитива *порушить*) и в направлении слухового восприятия (при использовании краткой формы причастия *порушен*).

Влияние родного языка писателя прослеживается при употреблении причастной формы *минувый* от глагола *минуть*, которой в русском языке соответствует форма *минувший*⁶: *Стояло лето, страдная пора, и надо было смотреть в осень, в зиму, заботиться о хлебе насущном, о дне грядущем. А полицейские были из дня минувого. Указанное причастие имеет значение 'прошедший, прошлый', антонимичное значению 'настоящий', которое реализует в контексте определение *грядущий* (день). Таким образом, противопоставленными оказываются два сочетания, содержащие двуязычные антонимы: *день грядущий — день минувый*.*

В речи автора неоднократно встречаются слова и образования, которые обычно квалифицируются как белорусизмы с той оговоркой, что в лексической системе русского языка они имеют те или иные ограничения, стилевую и стилистическую локализацию. К таким единицам относится и глагол *ведать* [1, с. 261] и некоторые его производные, например: *Тогда они враз, как по команде, повернутся друг к другу и, встретившись уже давно не сонными глазами, испугаются неведомо кого или чего; Но как-то на базарной площади появились саперы, оцепили площадь, отрыли бомбу, погрузили на машину и осторожно, тихо, как покойника, увезли неведомо куда и неведомо где схоронили.* Как отмечалось при анализе реплик персонажей повести, в одном контексте нередко обнаруживаются белорусские элементы разных уровней. Сходное явление отмечается и в отношении речи автора-рассказчика. В первом примере наречие *неведомо*, определяемое в русском языке как разговорное, употребляется совместно с наречием *враз*, имеющем в русском языке статус просторечия. Во втором примере то же наречие повторяется дважды: в сочетании с глаголом *увезли* и с глаголом *схоронили*, использование которого позволяет его толковать и в значении 'спрятать', и в значении 'похоронить'. Основание для второго толкования дает сравнение «как покойника».

Несомненное влияние белорусского языка сказывается в употреблении существительного *неведомость* в значении 'неизвестность', свойственного также украинскому языку, ср.: *В ожидании этой свежести и пролады Летечка брел неведомо куда. Неведомость и потерянность достигали*

⁶ Свойственные древнерусскому языку полные причастия на *-л-* в современном русском языке перешли в разряд прилагательных — *смелый, усталый* и др.

его, когда вдруг пропал воздух, и он ловил его не только ртом, но и руками, с кашлем вгонял в себя.

Сравнительно с речью персонажей, речь автора содержит несколько меньшее количество белорусизмов. Однако дифференциация этих типов речи по данному признаку представляется не столь существенной, как дифференциация по признаку лингвистической характеристики, т. е. по квалификации элементов национального языка, по их принадлежности к определенному уровню. Здесь обнаруживается весьма любопытное явление: преобладание белорусизмов в прямой речи обеспечивается главным образом их фонетическими и морфологическими особенностями, тогда как собственно лексические единицы белорусского языка имеют примерно одинаковую степень использования в обоих типах речи. В свою очередь, белорусская лексика разных грамматических классов в соотношении с речью автора и речью персонажей распределяется неравномерно: в речи персонажей большая часть лексем представлена глаголами и значительно меньшая — именами существительными; в речи же автора-рассказчика, напротив, прежде всего имена существительные манифестируют особенности белорусского языка. В связи с этим встает вопрос об их семантизации в тексте в случаях отсутствия русскоязычной параллели.

Данный вопрос может быть интерпретирован в плане «лакуны», восполнение которой компенсируется содержанием предыдущего (или последующего) текста. Действительно, значение слова *быстрак* при незнании белорусского языка невозможно установить по контексту, приведенному выше. Глагол *подсаживать* («подсаживали на быстрак») дает лишь представление о действии, но не о реалии, с которой это действие связано. Однако предыдущий контекст подготавливает к пониманию смысла белорусского слова, хотя бы как номинации родового понятия: *И Летечке трудно было поверить, что перед ним сейчас те самые люди, которых он знал всю жизнь. Вот по этим улицам они изо дня в день ходили на работу, возили на базар и во дворы сено на подводах и в санях. Летечка, ухватившись иной раз за рубель или веревку, подкатывался, укрывшись за сеном. (...) Мужики добродушно смеялись, щерили в утреннем или предзакатном солнце желтые зубы. А бывало, и подсаживали на быстрак, угощали деревенским желтым салом. Содержание расширенного контекста дает возможность объединить слова *подводы* — *сани* — *быстрак* в одну семантико-понятийную группу на основе признака «средство передвижения».*

По-иному осуществляется процесс установления семантики слов *бусел* — *буслиный*. Сочетание *буслиное гнездо* предшествует употреблению однокорневого существительного, соотнесение которого с конкретной птицей — аистом — основывается на характерном признаке: *бусел, на одной ноге неподвижно выставляющий у своего гнезда*.

В семантизации белорусской лексической единицы известную роль могут играть фонемно-фонетические ассоциации с русским словом, имеющим тождественное значение: *цвиркуны* — *сверчки*. Дополнительные ассоциации в контексте создаются за счет тех вещественных реалий (реалии), которые выступают в традиционной сопутствующей функции, ср.: *запели у печки цвиркуны; были цвиркуны за печкой*.

Использование элементов белорусского языка в речи персонажей как правило не нуждается в пояснениях прежде всего потому, что они отражают звуковые и грамматические особенности национального языка, системно соотносимые с русским языком. На первый взгляд, данный факт логически предполагает квалификацию этих особенностей как интерференцию белорусского языка в русскоязычном тексте. Однако такой вывод представляется несколько поверхностным. Более справедливо рассматривать подобные явления как средство воспроизведения специфики белорусского языка, как отбор характерологических признаков, свойственных иной, хотя и близкородственной русскому языку, системе. Поэтому прямая речь персонажей повести воспринимается не как нарушение норм русского языка в аспекте оценки «правильно — неправильно», а как воссоздание атмосферы реально звучащего и слышимого белорус-

ского слова, о котором Виктор Козько писал так: «За этим словом стояла и бабка Ничипориха из „Високосного года“ и дед Захарья из „Судного дня“, и немой Евмен Ярыга из повести „Цветет на Полесье груша“, и множество других, которых я еще не знаю, но слышу» [6, с. 246].

ЛИТЕРАТУРА

1. Функционирование русского языка в близкородственном языковом окружении. Киев, 1981.
2. Филин Ф. П. Историческая лексикология русского языка. М., 1984, с. 167.
3. Гируцкий А. А. Белорусско-русская лексическая интерференция при поэтическом переводе. — Известия АН БССР, серия общественных наук, 1980, № 6, с. 111—119.
4. Гируцкий А. А. Белорусизмы в поэтическом переводе на русский язык. — Известия АН БССР, серия общественных наук, 1981, № 3, с. 116—125.
5. Тикоцкий А. М. Белорусское слово в русской литературе. — В кн.: Русский язык. Минск, 1981, с. 151.
6. Козько В. Школа, масштаб, уровень. — Дружба народов, 1980, № 5.
7. Козько В. Судный день. Повести. М., 1979.
8. Словарь русского языка. Т. I. М., 1981, с. 319.
9. Словарь русского языка. Т. III. М., 1984.

***VELE, *BOLJE**

В данной статье рассматривается возможность этимологической трактовки слав. **vele(-)* 'магнорече' (resp. **velьjь*, **velikъ* и т. д.) и **bolje* 'magis' (resp. **bolьjьjь*, **bolьši* и т. д.) как слов, лишь вторично вошедших в сферу знаменательной лексики, а исходно представлявших собой сложения из хорошо известных славянским языкам частиц (**bo*, **ve*, **le* с вариантами) и передававших общее значение усиления, эмфазы.

Применительно к **vele*, **velikъ* речь идет о возврате к выдвинутой Г. А. Ильинским еще в начале века [1, с. 104—107; 2, с. 423—424] этимологии, незаслуженно забытой в новейшей литературе; что касается супплетивных форм сравнительной степени, то для них подобное этимологическое решение раньше, насколько нам известно, не предлагалось.

В связи с принципиальным вопросом о возможности приобретения сочетанием частиц знаменательного значения вообще, и адъективно-адвербиального значения положительной градации качественного признака в частности, достаточно будет сослаться на широко принятое объяснение слав. **dalje* (resp. **dаль*, **dalekъ*, **dальпъ* и т. д.) как сложений на основе частицы (местоименного корня) **da*; аналогичные образования в балтийских языках — лит. *tolì* 'далеко', *tolùs* 'далекий', лтш. *tāls* 'далекий', прус. *tālis* 'вперед' — включают другую частицу (местоименный корень) [3, т. 1, с. 136; 4, т. I, с. 483; 5, т. II, с. 334; 6, вып. 4, с. 184—185, 187]. Существенно отметить как принадлежность этих образований к тому же семантическому полю, что и **vele*, **bolje*, так и участие в их составе тех же *l*-овых элементов, причем в случае с **dalje*: **bolje* имеет место полный формальный параллелизм. О семантико-этимологических связях прилагательных со значением положительной градации качественного признака, с одной стороны, и слов со служебными значениями ('еще', 'либо' и др.), с другой стороны, в славянских, балтийских и других индоевропейских языках см. также [7, с. 11—12; 8, т. 1, с. 282].

Проблема происхождения слав. **vel-* обычно решается на уровне индоевропейской корневой этимологии — предлагаются, например, сравнения с тохар. *A wāl* 'князь, государь', *B walo* то же, *walke* 'продолжительный', греч. (F) *ἄλις* 'достаточно', *εἶλω*, *εἶλέω* 'тесно, жму', с другой ступенью вокализма лат. *valeo* 'быть сильным, здоровым' [4, т. I, с. 289; 9, т. 1, с. 131; 10, т. 1, с. 346—347] с литературой, или же с др.-инд. *varīyān* 'лучший' [11], с греч. *ἐρι-*, *ἄρι*: 'очень, сильно' при предположении о мене *l*/т [12, с. 683], с греч. *ἐλιχόν ὀρθόν* (Hesych.) [13], наконец, со слав. **volъ* [14], **valiti* [15] или же **velēti*, **volja* [16, с. 325]. К сожалению, количеством имеющихся этимологических версий не компенсируются органические недостатки корневой этимологии. Никакие из сравнений не объясняют особенностей оформления у членов гнезда слав. **vel-*, в частности, уникальность адъективного суффикса *-ik-* у **velikъ*.

Формальные трудности удачно решает гипотеза Г. А. Ильинского о местоименном происхождении этого гнезда. Решающим аргументом для ее автора служит абсолютный параллелизм между *velikъ 'большой' и *jelikъ, *kolikъ 'сколький, какой, сколь большой', *tolikъ 'столький', такой, столь большой' — параллелизм, распространяющийся на всю совокупность родственных форм, ср. (по Г. А. Ильинскому [1, с. 105—106]):

*tolъ — ст.-сл. *вель* (*вельможя*)

*toli — чеш. диал. *veli*

*tole — *vele

*tolja — зап.-слав. диал. *vela*

*tolькъ — зап.-слав. *velькъ

*tolikъ — *velikъ

*tolьтъ — *velьтъ

*tolьтъ — *velьтъ¹

«Этот удивительный параллелизм образований *мест.* *tolъ и имени *velъ нельзя объяснить иначе, как единством их происхождения. И так как в слав. язз. нет никаких данных для гипотезы, что какая-то именная или глагольная основа *ve-* еще в прасл. эп. заимствовала от *tolъ, *kolъ и т. д. их суфф., и вместе с ними разделила все их судьбы, то остается предположить, что ф[о]рма *velъ представляет такое же *мест.*, как и фф. *tolъ, *kolъ» [1, с. 106].

Данная этимология предполагает для членов гнезда слав. *vel- то же разложение на составляющие компоненты, что и для параллельных им местоименных образований, ср., например, относительно *je li, *jъ lě/*je lě [6, вып. 8, с. 186, 205], относительно *ko li/*ko lě, *koliko/*kolikъ(jъ) [6, вып. 10, с. 85—86, 135—136]; см. также [17, sv. 2] sub (j)elě, jeli (jель, jele, ile), jeliko, jelikъ, jельма/-mi, koli/kolě, koliko, kolikъ, kolьmi/-ma, ole, oliko, onolikъ, onoliko, ovoliko, selъ, seliko, selikъ, toli/tolě, toliko, tolikъ, toльmi/-ma. Речь может идти, таким образом, об исходности композитов *ve + *le 'много, очень, велико—' (ст.-сл. болг. макед. *веле-*, схрв. *вѣле*, словен. *vele-*, чеш. *vele*, слвц. *velo*, пол. *wiele*, *wieło-*, в.-луж. н.-луж. *wjele*, др.-рус. *веле*, рус. укр. *веле-*, белор. *веля-*), *ve + *lъ (в *velьможа, *velьможь, а также, возможно, в отдельных образованиях типа укр. *вельхорош*, если они не вторичны), *ve + *lъ + *jъ 'большой' (ст.-сл. *велии*, болг. макед. *вѣли*, схрв. *вѣльи*, др.-чеш. *velí*, др.-рус. *велий*, укр. диал. *вѣлий*), *ve + *li + *къ 'большой' (ст.-сл. *великъ*, болг. макед. *великъ*, схрв. *вѣлики*, словен. *velíki*, чеш. *sláck. veliký*, н.-луж. *wjeliki*, др.-рус. *великъ*, рус. укр. *великий*, белор. *вялікі*), *ve + *lъ + *къ 'большой' (чеш. *velký*, слвц. *vel'ký*, пол. *wielki*, в.-луж. *wulki*, полаб. *vilt'ě* при жен. р. *wilka*). Более проблематична предполагаемая Г. А. Ильинским [1, с. 107—108] архаичность некоторых локальных западнославянских образований с адъективным значением, ср. пол. диал. *wielgi*, *wieligi*, кашуб. *vjeldzi* (*ve + *li + *gъ, *ve + *lъ + *gъ?), н.-луж. *wielesy* (*ve + *le + *szъ?) — следы сложений с *gъ и *szъ обнаруживаются и в сфере местоимений.

В. Н. Топоров в иной связи уже констатировал [7, с. 10] этимологическое тождество адвербиального *vele (см. выше) и ст.-сл. эмфатического местоимения *веле* (часто о *веле*): Супр. 368, 2 о *веле дѣло чюдьно ѿ тѣхъ љѣновъ прѣцѣатовъ* и ряд других примеров [18, с. 171—172]. Характерны сочетания междометия *веле* с прилагательным *великъ* (Супр. 339, 4—5: ѿ *веле великоѣ несъмышлениѣ* ѿ *веле великоѣ нецѣлмоѣ оужесточениѣ* и под.), в которых усматривается *figura etymologica* — либо традиционная, либо, возможно, свидетельствующая о том, что этимологическая связь междометия и прилагательного еще осознавалась в эпоху создания Супрасльской рукописи.

Заметим, что если ст.-сл. *веле* 'ох! о как!' является результатом семантической деградации наречия *веле*, а последнее, в соответствии с распространёнными этимологическими взглядами, отражает и.-е. *uel-

¹ Последние две строки отражают представление о том, что формы типа *tolьма/-mi, *velьма/-mi являются по происхождению генитивными [1, с. 86]; более оправдана трактовка их как Instr. Du./Pl., см. [17, sv. 1, с. 321—322], а также ниже.

то мы вынуждены отрывать междометие *веле* от рифмующихся с ним и близких по значению междометий *e-le, *o-le [17, sv. 2, s. 278—279, 517—518], а также редупликационного *le-le 'увы!' (болг. *леле*, схрв. *леле*, укр. *леле*, см. [1, с. 68; 9, т. 3, с. 354]). С другой стороны, идея о том, что междометие *веле* преобразовано из *e-le, с v- в хиатусе [17, sv. 2, s. 719] заставляет этимологически размежевать ст.-сл. *веле*¹ и *веле*², с чем также трудно согласиться. Идея Г. А. Ильинского решает эту дилемму (другим ее решением могло бы быть предположение о контаминационной природе междометия *веле*), позволяя видеть в *ve-le, *e-le, *o-le, *le-le параллельные в этимологическом, формальном и отчасти семантическом планах образования.

Элемент *ve, по-видимому, может быть отождествлен со словен. *ve* 'сейчас, здесь' (наречная частица; также в пре- и постпозитивном употреблении: *vezdaj* = *zdaj* 'сейчас', *tam ve* = *tam-le*, *tu ve* = *tu-le*), ср. также материал по слав. -ve/-vě в [17, sv. 1, s. 332]. Индоевропейское сравнение открывает широкие, но, как нередко в подобных случаях, во многом гадательные возможности для дальнейшей этимологизации этой частицы. В частности, Г. А. Ильинский [1, с. 106] усматривал в *ve рефлекс и.-е. *ci (как и в *вь-сь, вслед за К. Бругманном [19]), хотя впоследствии отказался от этого сближения [2, с. 424].

Происхождение и функции элементов *le/*lь/*li (а также *lě, который, вообще говоря, также мог участвовать в некоторых образованиях рассматриваемого гнезда, но трудно поддается отделению от *le и *li) подробно охарактеризованы в недавних работах В. Н. Топорова [8, т. 4, с. 418—436; 20]; см. также [17, sv. 1, s. 319—320, sv. 2, passim]. Специально отметим выводы об архаичности (в свете балтийских и других индоевропейских данных) усиленного значения у славянских l-овых частиц [20, с. 78] и о принципиальной вариативности вокализма в этих частицах [20, с. 75]. Последнее обстоятельство можно трактовать, между прочим, в пользу этимологического «равноправия» *velikъ и (зап.-слав.) *velькъ (resp. *kolikъ и *колькъ, *tolikъ и *толъкъ)². В то же время необходимой объяснительной силой обладает, несмотря на недостаточность реконструктивных оснований, и гипотеза Г. А. Ильинского о том, что *lь, *li и *le по происхождению являются формами муж., жен. и ср. родов, а некоторые другие l-овые частицы — падежными формами несохранившегося в самостоятельном употреблении местоимения [1, с. 37 и сл.].

Славистическая литература создает впечатление, что компаратив *bolъjъ, *bolъši, *bolje(je) имеет безукоризненно надежную индоевропейскую этимологию, связывающую его с др.-инд. *bāliyas-* 'сильнее' (к *bālam* 'сила'), греч. βέλ-τερος 'лучше', лат. *dē-bilis* 'бессильный', др.-ирл. *ad-bol* 'огромный, большой', ниж.-нем. сев.-фриз. *pal, rall* 'крепкий, тугой, жесткий' (ср. [4, т. 1, с. 191; 5, т. 1, s. 316; 6, вып. 2, с. 193; 9, т. 1, с. 65; 22] и другие, старые и современные, этимологические словари). В индоевропеистике, однако, это сравнение вызывает серьезные сомнения: во-первых, из-за необходимости реконструировать чрезвычайно редкий анлаутный и.-е. *b (в интерпретации глоттальной теории *p') [23; 24]; во-вторых, ввиду необычного сохранения *-l-, отсутствия иранских соответствий и возможности объяснения как заимствования из дравидийских языков [25] под большим вопросом оказывается др.-инд. *bāliyas-* (в котором обычно видят поморфемный аналог слав. *bolъjъ).

Соображения, положенные в основу настоящей статьи, позволяют выдвинуть гипотезу об исходности композита с частицей *bo в качестве первого компонента. Среди довольно широкого спектра значений давней

² Вопрос о соотношении этих форм решается в литературе по-разному. В. Махен предполагает, что чеш. *velkú* и под. — результат речевой редукции из *velikú* и под.; в то же время признаются первичными формы типа *колькъ, а -i- в *kolikъ объясняется вторичной аналогией с *velikъ (!), где -i- — результат стяжения из *-ъjъ (*velъjъ-къ), см. [12, s. 269, 682]. Противоположная точка зрения — представление о вторичности *lь по отношению к *li в местоименных образованиях — отражена, например, в [21] и, имплицитно, в [6, вып. 10, с. 135—136], а с предположением о дублетности уже на праславянском уровне — в [9, т. 2, с. 556—557, 558].

частицы в контексте предлагаемой этимологии существенно усилительное значение у ст.-сл. *бо* 'же', рус. диал. *Иди бо, садись бо, принеси бо* [26, вып. 3, с. 34], релевантное и для балтийских соответствий [8, т. 1, с. 207—208], а в еще большей мере проявляющееся у этимологически тождественной неэнклитической частицы **ba*, ср. особенно пол. *ba* 'поистине; даже, больше того; вот, ну; конечно' [6, вып. 1, с. 105; 17, sv. 2, s. 92—93].

Таким образом, уже у частицы **ba* (энклитическим вариантом которой с сокращением исходной долготы является **bo*) выявляется определенная семантическая близость к компаративу **bolje*. С другой стороны, обращают на себя внимание отдельные рефлексy слав. **bolje* и вторичного **boljše* со значениями, далекими от 'magis', но чрезвычайно характерными для частиц и сложений из частиц. Так, в северновеликорусских говорах отмечаются арх. *боле* 'снова, опять, еще раз, уже; теперь, в настоящее время' (*Стары стали, нать боле умирать крайню; Ф пеце боле у меня остыло*), 'уж, ведь' (*Я боле софсем стала видеть худо*) [27, вып. 2, с. 54—55], арх. *больше* 'еще, дополнительно, вдобавок; теперь, в настоящее время; уже; потом, после, позже; совсем, совершенно, окончательно', а также 'пожалуй, что ли' (*Я пойду домой большэ*), 'ну-ка' (*Помани большэ*) [27, вып. 2, с. 64—65], том. алт. иркут. челяб. *больше* 'кажется, должно быть, вероятно, пожалуй', перм. новг. вост.-сиб. енис. забайк. *больш* 'кажется, словно бо, думается, знать' [26, вып. 3, с. 87, 90], волог. перм. *болéшто*, *болéцо* 'почти, около; что еще; тем более что' [26, вып. 3, с. 74]. Сюда же, очевидно, и укр. диал. *боле*, *боли* 'добрé', *ббледь* 'либонь', *ббледь що* 'слава богу, що', квалифицированные в украинском этимологическом словаре как «не вполне ясные образования» [10, т. 1, с. 225]. В силу семантической близости к укр. *ббледь* к этим примерам можно, по-видимому, добавить и словен. диал. *boli* 'либо', отказавшись от попытки интерпретировать это слово как стяжение из **bo*di li или как метатезу из **libo* [17, sv. 1, s. 320, sv. 2, s. 95].

Таким образом, и в этом случае мы оказываемся — в случае принятия традиционной этимологии для слав. **bolje* — перед необходимостью или этимологически обособлять результаты семантической деградации **bolje*³ от близких по значению частиц и сложений (**bo*, **ba*, **li bo*, **le bo* и др.), или размежевывать **bolje*¹ 'magis' и **bolje*² (или **bole*, **boli*?) как сочетание частиц. Предлагаемая нами этимология рeпaeт эту дилемму на основе довольно естественного допущения о том, что на периферии славянского мира могли сохраниться (по крайней мере отчасти) следы первичной семантики **bolje* (или **bole*, **boli*?), предшествовавшей специализации на выражении значения сравнительной степени прилагательного.

В то же время, то обстоятельство, что вторым компонентом **bolje* выступает l-овая частица в сращении с показателем сравнительной степени (ср. ст.-сл. *болж* [18, s. 137], схрв. *бдље* 'лучше' и т. д.; в этом отношении **bolje* отличается по оформлению от **vele*, но совпадает с упомянутым выше **dalje*), а тем более древность форм муж. и жен. родов **boljъjь* и **boljъši* свидетельствуют о том, что образование исходного композита должно быть отнесено к существенно более раннему времени, чем поздняя праславянская эпоха⁴.

³ В принципе такая деградация несомненно возможна, ср. хотя бы лат. *magis* → франц. *mais*.

⁴ В порядке одной из возможных гипотез можно попытаться реконструировать исходное состояние, характеризовавшееся использованием сочетаний частиц **ve le*, **bo le*, **da le*, передававших значение эмпазы с теми или иными оттенками ('даже', 'более того', 'сверх того' и под.). Вероятно, степень эмпазы в **bo le* (и, возможно, у **da le*) была выше, чем у **ve le* (такому предположению не противоречат данные о семантике **bo*, **da* и **ve* в иных — самостоятельных и несамостоятельных — употреблении этих частиц). Это создало предпосылки к развитию семантического контраста между **ve le* и **bo le* по типу контраста между положительной и сравнительной степенями прилагательных и наречий, что в свою очередь обусловило сближение **bo le* с формами сравнительной степени на *-je (и.-е. *-ios, см. [28]), превращение **bo le* в **bolje* (то же в случае с **da le* > **dalje*) и затем «достройку» по аналогии форм **boljъjь* (муж. р.) и **boljъši* (жен. р.). — Менее вероятно, с нашей точки зрения, тождество (исходное) второго компонента в **bolje*, **dalje* с **lje* как одним из вариантов

Дополнительно подчеркнем такую существенную аналогию рассматриваемых корневых гнезд с местоименной лексикой, как наличие производных с суффиксами Instr. Du. -*ma* и Instr. Pl. -*mi*, ср. **velьma*, **velьmi* 'много, очень' (ст.-сл. *вельми*, *вельма*, болг. *вѣлне*, *вѣлно*, схрв. *вѣдма*, чеш. *velmi*, словц. *vel'mi*, пол. *wielmi*, рус. *вельмѣ*, укр. *вѣльмѣ*, белор. *вѣльмѣ*) и **bolьma*, **bolьmi* 'лучше, более' (ст.-сл. *больми*, *больма*, схрв. *бѣьма*, словен. *boljma*, др.-рус. *больми*), см. [4, т. 1, с. 289; 9, т. 1, с. 132; 10, т. 1, с. 348; 18, с. 135; 29; 30]. Как справедливо подчеркнул уже Г. А. Ильинский применительно к **velьmi/-ma* [1, с. 86], подобные производные имеют наиболее многочисленные и близкие аналоги среди бесспорно местоименной лексики (ср. **jelьmi/-ma*, **kolьmi/-ma*, **tolьmi/-ma*, **vььma*, см. [17, sv. 1, s. 321, sv. 2, s. 281—282, 366, 682—683]; относительно мало распространенное **тььmi/-ma* 'менее' — ст.-сл. *мьньми*, схрв. *маьма* — могло возникнуть по аналогии с **velьmi/-ma*, **bolьmi/-ma*).

Изложенная выше этимология слав. **vele* и **bolje*, удачно объясняя ряд формальных особенностей этих слов и по-новому интерпретируя их связи с некоторыми служебными словами, одновременно ставит серьезные проблемы семантического порядка, будучи в этом отношении существенно сложнее, чем прямолинейные индоевропейские корневые этимологии. Автор рад предоставить коллегам возможность судить о том, насколько в данном случае оправдан такой нетривиальный этимологический прием, как предположение о вторичности знаменательного значения по отношению к служебно-амфатическому. В то же время мы не склонны считать, что предложенное этимологическое решение «передает» **vele* и **bolje* в сферу исключительной компетенции славянской этимологии и выводит эти слова за пределы досягаемости индоевропейского сравнения. Собственно говоря, разложение этих слов на компоненты-частицы являет собой внутреннюю реконструкцию, которая, как и во многих других случаях (ср., например, [31]), вряд ли может быть четко спроецирована на хронологическую ось. Этим обстоятельством определяется потенциальная (но требующая, разумеется, специальных дополнительных изысканий за пределами славистики) совместимость нашего этимологического решения с какими-то из предлагавшихся ранее индоевропейских параллелей к **vele* и **bolje* — в том случае, если соответствующие слова восходят к тому же или сходному сочетанию частей (ср. характерную с этой точки зрения ситуацию со слав. **kolikь*, **tolikь*, которые, с одной стороны, поддаются разложению на этимологические компоненты — **ko* + **li* + **кь*, **to* + **li* + **кь*, а с другой стороны, правомерно сопоставляются с тождественными по значению и образованию греч. *τῆλικος*, *τῆλικος*, лат. *quālis*, *tālis* [4, т. II, с. 291, т. IV, с. 75; 6, вып. 10, с. 135—136]). Одна из первых возникающих в этой связи идей — это возможность реабилитации гипотезы о связи слав. **bolje* с лит. *lābas* 'добрый, хороший', литш. прусск. *lābs* (см. [6, вып. 2, с. 194] с литературой и [7, т. 4, с. 408]): варьирующийся порядок расположения частиц гораздо более правдоподобен, чем чисто фонетическая метатеза. В то же время нельзя забывать, что разыскания в этом направлении могут оказаться в опасной близости от глоттогонических идей первичного корнетворчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ильинский Г. А. Сложные местоимения и окончания родительного пад. ед. ч., ж и ср. р. неличных местоимений в славянских языках. Изд. 2-е. М., 1905.
2. Ильинский Г. А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.
3. Słowski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Т. 1.— Kraków, 1952—.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964—1973.
5. Słownik prasłowiański. Pod red. F. Sławskiego. Т. 1.— Wrocław etc., 1974—.
6. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1.— М., 1974—.

вокалической огласовки славянских *l*-овых частиц (ср. схрв. *ьe* — частица усиления отрицания, см. [1, с. 36—37; 9, т. 3, с. 331]).

7. *Топоров В. Н.* Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам.— В кн.: *Этимология* 1972. М., 1974.
8. *Топоров В. Н.* Прусский язык: Словарь. Т. 1.— М., 1975—.
9. Български етимологичен речник. Ред. Вл. И. Георгиев. Т. 1.— София, 1971—.
10. *Етимологічний словник української мови.* Гол. ред. О. С. Мельничук. Т. 1.— Київ, 1982—.
11. *Zubaty J.* Studie a články. I/1. Praha, 1945, s. 366.
12. *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.
13. *Grošelj M.* Etyrna slavica.— *Slavistična revija*, V—VII, 1954, s. 122—124.
14. *Meillet A.* Etudes sur l'étymologie et la vocabulaire du vieux slave. I. Paris, 1902, p. 242.
15. *Solmsen F.* Beiträge zur griechischen Wortforschung. T. 1. Straßburg, 1909, S. 155.
16. *Holub J.* Stručný slovník etymologický jazyka československého. 2 vyd. Praha, 1937.
17. *Etymologický slovník slovanských jazyků: Slova gramatická a zájmena.* Sest. F. Kopečný, Vl. Saur, V. Polák. Sv. 1—2. Praha, 1973, 1980.
18. *Slovník jazyka staroslověnského.* I. Praha, 1959.
19. *Brugmann K.* Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität.— In: *Renuntiationsprogramm der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig für 1893—1894*, S. 74.
20. *Топоров В. Н.* О специфике балт. *iai и его индоевропейских параллелей: на стыке морфологии и синтаксиса.— В кн.: *Балто-славянские исследования 1983*, М. 1984.
21. *Schachmatov A. A.* Beiträge zur russischen Grammatik.— *Archiv für slavische Philologie*, Bd. VII, 1884, S. 62—66.
22. *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Bd. I. Wiesbaden, 1963—1975, S. 383—384.
23. *Pedersen H.* Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute.— *Det Kgl. Danske Videnskaberne Selskab, Historisk-filologisk Meddelelse*, XXXII/5. København, 1951.
24. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1. Тбилиси, 1984, с. 6.
25. *Burrow Th.* The Sanskrit Language. London, 1956, p. 384.
26. *Словарь русских народных говоров.* Сост. Ф. П. Филин. Вып. 1.— М.— Л., 1965—.
27. *Архангельский областной словарь.* Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1.— М., 1980—.
28. *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951, с. 297.
29. *Verneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913. S. 72.
30. *Преображенский А. Г.* *Этимологический словарь русского языка.* Т. 1. М., 1959, с. 35.
31. *Хелимский Е. А.* Прасамодийские серии посессивов и их рефлексy.— В кн.: *Категория притяжательности в славянских и балканских языках: Тезисы совещания.* М., 1983, с. 111.



ЛИТАВРИН Г. Г., ФЛОРИЯ В. Н.

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НАРОДАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
И КРЕЩЕНИЕ РУСИ¹
(некоторые сравнительные сопоставления)

Марксистская наука давно пришла к выводу, что христианство, как мировая религия, представлявшая собой опыт осмысления (в соответствующей времени религиозной форме) общественным сознанием противоречий, сложившихся в результате многовекового развития античного рабовладельческого общества, не могло быть легко и просто воспринято племенами, стоявшими на пороге создания классов и государственности.

Ранняя история славян может служить одним из ярких примеров правильности этого тезиса. Первый широкий контакт славян с христианским миром (а следовательно, и с христианством) имел место в VI в. — в эпоху славянских вторжений на территорию Восточной Римской империи. Как известно, контакт этот закончился не христианизацией славян, а исчезновением сначала христианской церковной организации, а затем и самого христианского вероисповедания на огромных территориях Балкан, занятых славянами.

Правда, уже довольно скоро, с начала VII в., на славянских землях появились христианские миссионеры, но их проповедь первоначально не вызвала у местного населения никакого интереса [1], и с этого времени прошел очень длительный хронологический период, прежде чем христианство стало господствующей религией на этих территориях. Пока у славян и других народов Центральной и Юго-Восточной Европы традиционный общественный строй еще не подвергся коренным изменениям, не было необходимости в преобразовании традиционной идеологической надстройки, не существовало и политических сил, заинтересованных и достаточно влиятельных, чтобы это осуществить.

Этому утверждению на первый взгляд противоречат сообщения о крещениях и отдельных правителей со своим окружением (как, например, хана протоболгар Кубрата) [2], и даже целых народов (как, например, хорватов и сербов) [3], имевших место уже в VII в. Если в достоверности сведений о таких крещениях нет оснований сомневаться, то безусловно и то, что они не имели серьезных исторических последствий: и протоболгары, и сербы, и хорваты и после этого в течение очень длительного времени продолжали оставаться язычниками. Судя по всему, такие крещения

¹ Статья основана на результатах коллективного труда под тем же названием, выполненного в Секторе истории средних веков Института славяноведения и балканистики АН СССР.

для местной верхушки были прежде всего одной из сторон выгодных для них соглашений с христианскими государствами, облегчавших получение даров и почестей, и в ее понимании означали, вероятно, просто разрешение христианской проповеди или согласие почитать христианского бога наряду с традиционными языческими². Изменение политических отношений или чрезмерная активность христианских миссионеров легко приводили в таких условиях к отказу от крещения.

Связанными прежде всего с внешнеполитической обстановкой можно считать крещение 14 чешских князей в 845 г. [5] и венгерских князей при посещении Константинополя в середине X в. [6], и, вероятно, крещение русов в середине 60-х годов IX в. Свидетельства об этом событии сохранились в окружном послании константинопольского патриарха Фотия 867 г. [7] и в «Vita Basilii», написанной в середине X в. императором Константином VII Багрянородным [8]. Крещение было результатом усилий византийского правительства, посылавшего русам золото, серебро и шелковые ткани, чтобы после их похода на Константинополь в 860 г. добиться с ними мира. Однако, как известно, это не привело к утверждению христианства у восточных славян.

С формированием классов и государства у народов Центральной и Юго-Восточной Европы все более острой становилась объективная необходимость приведения идеологической надстройки в соответствие с новыми общественными отношениями. Что речь идет именно об объективной необходимости, а не о чисто идейных изменениях, связанных с влиянием христианства, свидетельствуют попытки реформ традиционных языческих верований, предшествовавшие принятию христианства. Есть основания полагать, например, что в смене форм погребального обряда в Великой Моравии на рубеже VIII—IX вв. [9], явно не связанной с принятием христианства, отразилась подобная реформа. Имели место попытки реформ традиционных верований и в Болгарском государстве начала IX в. Здесь для их проведения был важный дополнительный стимул — сохранение наряду с этническим религиозным дуализмом, когда оба этноса, проживавшие на территории одной державы (славяне и протоболгары), исповедовали системы верований, различные не только по генетическому происхождению, но и по связи с культурно-хозяйственным типом (связь религиозных верований тюрков-протоболгар с кочевым, а славян — с земледельческим обществом), становилось серьезным препятствием на пути к укреплению единого раннефеодального государства. Крум, правитель Болгарии в начале IX в., пытался, по-видимому, превратить тюркские культы в общегосударственные (так, подчиненные ему славянские вожди, пившие по требованию хана вино из черепа убитого императора Никифора I, явно совершали тем самым тюркский религиозный обряд) [10], но эта попытка не могла иметь успеха из-за быстро развивавшейся славянизации протоболгар и их перехода к оседлости.

Наконец, древнерусская летопись содержит прямые свидетельства о реформе языческих верований, осуществленной на Руси князем Владимиром в конце X в. [11, с. 128]. Существуют разные мнения о ее конкретном содержании [12; 13], но в одном исследователи сходятся: на первый план в системе религиозных представлений был выдвинут культ Перуна как бога — покровителя княжеской власти и дружины — формирующегося господствующего класса. Реформа, таким образом, имела целью именно приспособление старой надстройки к новым общественным отношениям. Важно, что она проводилась в условиях (см. об этом ниже), когда в Киеве в рядах княжеской дружины давно имелась большая группа приверженцев христианства. Очевидно, что далеко не сразу господствующий класс Древней Руси (как и других возникающих в Центральной и Юго-Восточной Европе государств) предпочел христианство язычеству.

К сожалению, источники не дают прямого ответа на вопрос о том, почему господствующий класс всех раннефеодальных государств обоих ре-

² Так, например, еще в конце X в. первоначально понимал принятие христианства верховный князь венгров Геза, заявлявший, что он достаточно могуществен, чтобы приносить жертвы и христианскому богу и языческим богам [4, с. 584].

тионов предпочел не реформу традиционных верований, а принятие внешнего для данного общества вероисповедания³. Ответ на него можно дать, лишь опираясь на общие результаты изучения этих государств и их внешних связей.

Принятие христианства открывало для знати раннефеодальных государств дорогу к освоению социального опыта христианских стран с уже сформировавшимися классами, сложившейся системой государственных институтов, более высоким уровнем благосостояния и более высоким общественным престижем представителей правящего класса⁴. Весьма вероятно также, что новая религия (даже независимо от ее конкретного содержания) была для господствующего класса наиболее удобной идеологической санкцией происшедшего общественного переворота, наиболее радикальной формой разрыва с тем миром представлений, который был генетически связан с отживающим общественным строем.

Вместе с тем принятие новой религии позволяло наладить взаимовыгодные равноправные отношения с соседними единоверными государствами, закрепить за собой признанное соседями место в складывавшейся политической структуре Европы. Эти соображения становились для правящей верхушки языческой страны тем более весомыми, чем больше по соседству с ней оказывалось государств, приверженных христианству. Преобладание в их внешнем окружении христианских государств предопределило выбор государствами Центральной и Юго-Восточной Европы в качестве нового вероисповедания именно христианской религии.

Если внешнее воздействие определенно способствовало христианизации, то, вместе с тем, оно же могло создать и серьезные препятствия на этом пути. Следует иметь в виду, что решение принять новое вероисповедание ставило деятелей, его осуществлявших, перед очень серьезными политическими проблемами. Принятие новой веры от соседнего христианского государства означало опасность оказаться от него сначала в религиозной, а затем и в политической зависимости. Опасность эта была тем более реальной, что в раннее средневековье церковь была особенно тесно связана с государством, которое активно использовало ее поддержку для расширения сферы своего политического влияния. Именно такой характер носила внешняя политика двух наиболее крупных христианских держав тогдашней Европы — Византии и Империи Каролингов (а затем и ее преемницы — Священной Римской империи). Церковная зависимость от Зальцбурга укрепляла во второй половине VIII в. зависимость славянского Карантанского княжества (современная Каринтия) от Баварского герцогства, а принятие хорватскими княжествами христианства от Аквилейского патриархата было связано с их временным подчинением Империи Карла Великого. Принятие христианства из Византии во второй половине IX в. имело аналогичные последствия для сербских княжеств. Неслучайно для ряда стран крещение стало началом напряженной борьбы за завоевание светской и церковной независимости.

Если соседнее христианское государство не выдвигало политических притязаний и отношения с ним были мирными (например, Великая Моравия и Империя Каролингов в первой половине IX в.), то приобщение языческой страны к христианству шло достаточно быстро и успешно. Иная ситуация складывалась там, где была налицо политическая конфронтация и даже угроза завоевания. Примером может служить крайне длительное

³ Исключением как будто является древнерусский рассказ об «испытании вер» [11, с. 132 и сл.], в котором говорится и о доводах миссионеров отдельных религий, и об отношении древнерусской верхушки к этим доводам. Однако многие из приводимых там оценок отражают скорее всего воззрения не «русов» конца X в., а составителя рассказа — книжника, не только догматически образованного и знакомого с христианской полемической литературой, но и особенно чувствительного к эстетической стороне религиозного обряда. Можно ли поверить утверждению автора летописного текста, что предпочтения, оказанные Константинополю, определялись прежде всего эстетическими достоинствами византийского богослужения?

⁴ Данные, полученные при археологических раскопках, ясно показывают, как активно местная знать стремилась следовать образу жизни христианских соседей (м., например, [14]).

и ожесточенное сопротивление христианизации со стороны полабских славян, для которых принятие христианства отождествлялось с завоеванием их страны немецкими феодалами.

В особенностях внешнеполитической ситуации следует искать и объяснение того, почему Болгария, заметно опережавшая в то время по уровню развития соседние страны и постоянно имевшая на своей территории христианское население, оказалась отнюдь не первым славянским государством, принявшим христианство. В условиях, когда болгарские правители во второй половине VIII в. упорно боролись против угрозы подчинения своего государства Византии, а в начале IX в. успешно оспаривали ее преобладающую позицию на Балканах, было совсем не простым делом принять вероисповедание своего главного политического противника. Ситуацией постоянного болгаро-византийского конфликта следует объяснить и гонения на христиан в Болгарии в первой трети IX в. — явление, не наблюдавшееся в других странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Наряду с внешними существовали и серьезные внутренние препятствия на пути утверждения христианской религии в этих странах. Их характер далеко не полно отражен в имеющихся источниках, поэтому представляется возможным привлечь в качестве аналогии обширные свидетельства скандинавских саг, что методически оправданно, так как скандинавские страны стояли примерно на том же уровне развития и сталкивались при принятии христианства с теми же проблемами, что и страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

О том, что здесь именно правящий слой проявлял острый интерес к христианству, свидетельствуют данные о многих правителях и представителях знати, принявших христианство задолго до того, как оно утвердилось в скандинавских странах. Однако их устремления не были созвучны настроениям основной массы свободных. Привязанные к традиционным культурам, тесно связанным со всем их образом жизни, они воспринимали смену религии не только как мировоззренческую, но и как хозяйственную катастрофу⁵. В этих условиях попытки правителей добиться принятия христианства по решению «народного собрания» (тинга) были обречены на неудачу. Сохранился подробный рассказ о норвежском конунге середины X в. Хаконе Добром, крестившемся в Англии. Когда он обратился с предложением креститься к тингу, то участники тинга не только его отклонили, но и заставили правителя участвовать в совершении языческих обрядов [15, с. 75 и сл.]. В Швеции еще и в XI в. правителей-христиан неоднократно изгоняли из страны за отказ приносить публично языческим богам жертвы, которые совершались в надежде обеспечить стране мир и урожай [16].

Лишь позднее правители, опиравшиеся на поддержку сильной и хорошо организованной дружины, смогли сломить сопротивление оппозиции, разрушить языческие храмы и принудить областные тинги принять новую веру. Анализ рассказов о насаждении христианства норвежскими конунгами Олавом Трюгвассоном и Олавом Святым (конец X — начало XI в.) показал, что сопротивление свободных христианизации возглавляла местная племенная знать, которая собственно и распоряжалась в главных центрах языческого культа. Значительная часть этой знати, выступавшей и против смены веры, и против усиления центральной власти, была истреблена во время борьбы за установление новой религии [17].

Таким образом, принятие христианства в Скандинавии стало, по существу, переломным моментом не только идейно-мировоззренческой, но и социальной (оформление раннефеодальной государственности) истории, и в ходе борьбы за принятие новой религии проявились противоречия не только между интересами массы населения и складывавшегося господствующего класса, но и между различными частями этого класса.

Остается неясным, что побуждало здесь правителей и объединявшуюся вокруг них часть господствующего класса поднимать вопрос о смене религии в условиях, когда социальные предпосылки для этого еще не полностью созрели. Возможно, разностороннее (и положительное, и отрицательное)

⁵ «Бонды говорили, что тогда им нельзя будет хозяйствовать на земле» [15, с. 75].

воздействие внешнего окружения было тем фактором, который побуждал насильственно форсировать изменения в социальной и духовной жизни общества.

Ситуацию, во многом аналогичную скандинавской, мы видим у полабских славян, где лишь часть правителей и знати выступала за введение христианства, в то время как не только основная масса населения, но и часть знати и некоторые правители упорно держались веры отцов и преследовали христиан. По-видимому, воздействие фактора, который в Скандинавии отсутствовал, а именно — внешней опасности со стороны немецких феодалов, способствовало тому, что объединение антихристианских сил оказалось здесь особенно прочным, а княжеская власть, пытаясь укрепиться и ввести новое вероисповедание с помощью немецких феодалов, лишь ослабила этим свои позиции⁶. Христианство утвердилось здесь лишь после завоевания страны немецкими феодалами.

Серьезные внутренние конфликты, завершившиеся, как в Скандинавии, принятием христианства, имели место в Карантанском княжестве. Здесь уже через несколько лет после установления новой религии начались «мятежи», которые привели к изгнанию христианского духовенства из страны. Местные князья смогли подавить их лишь при помощи сюзерена — баварского герцога [19; 20]. В волнениях участвовала и часть знати, недовольная отказом от «дедовской религии» [21]. Когда в начале 80-х годов IX в. князь чехов Борживой принял со своей дружиной крещение при дворе великоморавского правителя Святополка, народ чехов согнал его с княжеского стола за отказ от «отцовских прав» [22]. Когда восстание было подавлено с помощью Святополка, на месте племенных собраний была поставлена крепость — Пражский град, в которой и был построен христианский храм [23]. Таким образом, и в Чехии принятие христианства оказалось переломным моментом в развитии раннефеодальной государственности.

Верховный князь венгров Геза, принявший христианство в начале 70-х годов X в., также силой подавлял сопротивление подданных, не желавших принимать христианство [24; 4, с. 584], а его сын Иштван предпринимал военные походы против отдельных венгерских князей-язычников. При этом Геза и Иштван опирались на поддержку своих баварских союзников. Именно эти походы привели к объединению территории отдельных племенных княжеств в рамках единого раннефеодального Венгерского государства.

Причина всех отмеченных здесь конфликтов представляется принципиально ясной: попытки утвердить новую религию предпринимались княжеской властью в условиях, когда еще не сложились характерные для феодального общества отношения господства и подчинения, которые обеспечивали бы повиновение основной массы населения решениям правящей верхушки, и был далеко не завершен процесс консолидации господствующего класса, еще раздробленного то на слои с разными интересами, то даже на разные политические объединения.

Такому выводу как будто противоречит пример Болгарии, где вскоре после принятия христианства правителем болгар Борисом в середине 60-х годов IX в. вспыхнуло восстание сторонников язычества, охватившее территорию десяти округов. По свидетельствам самых разных источников оно было организовано знатью: после его подавления было истреблено 52 знатных рода [25]. А в данном случае не может быть речи о низком уровне социального развития: система институтов, характерных для раннефеодального государства, сложилась здесь в результате административных реформ 20-х годов XI в., т. е. задолго до крещения. Однако, если в Болгарии и была создана единая политико-административная структура, то ее господствующий класс к середине IX в. еще не стал полностью единым, разделяясь на славянскую и протоболгарскую знать, из которых именно второй принадлежала ведущая роль в управлении государством. В принятии христианства, означавшем ликвидацию того религиозного дуализма, о котором

⁶ О специфике борьбы за установление христианства у полабских славян на примере Ободритского княжества середины XI в. см. [18].

говорилось выше, часть протоболгарской знати, по-видимому, усмотрела угрозу своему особому положению и поэтому выступила против центральной власти. Важно, что в отличие от Борживоя чешского Борис подавил мятеж, не прибегая к внешней помощи. Следовательно, несмотря на измену большой группы знати, он имел в своем распоряжении достаточно крупные военные силы.

Не сохранилось каких-либо сведений о внутренних конфликтах в Великой Моравии ни в момент принятия христианства, ни в ближайшие после крещения десятилетия. Это, правда, можно было бы объяснить скудостью сведений, но такое объяснение вряд ли подходит для Древнечешского государства, о крещении правителя которого Мешко I в 966 г. сохранились сообщения и в местных источниках, и у иностранных авторов. Никаких данных о сопротивлении установлению христианства и в этих источниках не обнаруживается. Такой осведомленный современник Мешко I, как епископ мерзбургский Титмар, лишь кратко отмечает, что после крещения монарха за ним последовали и его подданные [4, с. 220]. Скорее, истина состоит в том, что к моменту принятия христианства и Великая Моравия, и Польша представляли собой сложившиеся раннефеодальные государства, в которых решение правящей верхушки о крещении не могло встретить серьезного сопротивления.

Видимо, в свете данной схемы, выработанной на основе анализа материала, относящегося к странам Центральной и Юго-Восточной Европы, следует оценить и то, что нам известно о проникновении христианства на Русь, а затем о крещении населения Древнерусского государства.

Сразу же отметим, что само международное положение Киевской Руси в конце IX—X вв. вносило в политику руководящего слоя этого государства определенные особенности. Ни от одного из соседних государств ей не угрожала серьезная опасность — в Киеве могли не только не остерегаться перспективы попасть в зависимость от одного из них, но и позволить себе не спешить с принятием новой веры. Ее выбор осложнялся здесь тем, что, в отличие от рассмотренных выше стран, Древняя Русь граничила не только с христианскими, но и с мусульманскими государствами. По свидетельству так называемого рассказа об «испытании вер» русской летописи [11, с. 132, 148—149], подтвержденного данными восточных источников [26], правящая верхушка Киевской Руси еще в конце X в. некоторое время колебалась между принятием мусульманства и христианства. Выбор в пользу христианства говорит о том, что система связей с Византией и к тому времени уже христианскими балканскими и центральноевропейскими государствами оказалась для господствующего класса Древней Руси более важной, чем связи с мусульманскими странами, политический вес которых на международной арене как раз в это время понизился в связи с начавшимся упадком Арабского халифата.

Хорошо известны сведения источников об интересе, проявлявшемся к новой религии представителями правящего слоя Древней Руси задолго до того, как она стала официальным вероисповеданием. В договоре князя Игоря с греками 944 г. упоминается целая группа княжеских дружинников-христиан, приносивших присягу в «соборной» церкви Ильи в Киеве [27]. Вдова Игоря, княгиня Ольга, приняла крещение в Константинополе при участии императора Константина VII Багрянородного [28], а в 959 г. отправила посольство в Германию к королю Оттону I с просьбой прислать епископа и священников [29]. Однако миссия немецкого духовенства на Русь закончилась неудачей — очевидно, в связи с отказом сына Ольги, Святослава, сменить веру. Показательно, как впоследствии летописец освещал разногласия между членами княжеской семьи по вопросу об отношении к христианству. В ответ на уговоры матери Святослав будто бы отвечал: «Како аз хочю ин закон приняти един? А дружина смеятися начнуть и ругатися». Ольга же напротив полагала: «Аще крестипшися, вси имуть тоже творити» [11, с. 116]. Таким образом, Ольга (по крайней мере, в представлении летописца) полагала, что для принятия решения о смене веры достаточно личного авторитета правителя, а сын ее считал, что такой шаг нельзя предпринимать без согласия дружины — ядра формирующе-

гося господствующего класса Древнерусского государства. Характерно, что при этом, как видим, не было речи ни о мнении «народа» вообще, ни о каком-либо решении веча — народного собрания аналогичного скандинавскому тингу, который находится на первом плане в повествовании скандинавских саг о распространении христианства.

Сделанные наблюдения следует сопоставить с уникальным в исторической литературе раннего средневековья повествованием о принятии Русью христианства при Владимире. Конечно, само содержание происходивших дискуссий, как отмечалось выше, далеко не во всем вызывает доверие, но нет оснований сомневаться в достоверности соблюдавшихся при этом процедурных норм, для искажения которых у летописца не было причин. Так, выслушав миссионеров разных религий, Владимир созывает «бояры своя и старца градския» и по их совету решает, не полагаясь на рассказы миссионеров, выслать посольства, чтобы на месте познакомиться с религиозными верованиями разных народов. Затем об исполнении своей миссии послы отчитываются «перед дружиною», т. е., как видно из контекста, перед теми же «боярами» и «старцами». По их рекомендации и было принято решение о крещении. У того же круга лиц князь запрашивал совета и о возможном месте крещения [11, с. 132 — 134, 148 — 150]. Ни о каком, хотя бы формальном, одобрении принятого решения со стороны «народа» в древнерусском рассказе нет и речи, и этим он заметно отличается не только от аналогичных повествований в скандинавских сагах или в чешской «Легенде Кристиана», но и от сообщений франкских источников⁷. Правда, в рассказе отмечается, что «речь» бояр и старцев «бысть любя. . . князю и всем людем», но относится это к совету отправить послов в разные страны и более никакие «люди» не упоминаются.

В дальнейшем повествовании и поход на Корсунь, и переговоры с византийскими императорами о крещении приписываются исключительно инициативе самого Владимира, хотя подчеркивается, что вместе с ним «дружина его мнози крестипаша» [11, с. 150 — 152].

Особый интерес представляет описание последовавшего за крещением Владимира и его дружинников крещения населения в главном центре Древнерусского государства — Киеве. В отличие от норвежских конунгов или Хлодвига Владимир не пытался (хотя бы и силой) добиться благоприятного решения народного собрания, а обратился к населению города с приказом явиться для крещения на реку, угрожая карами в случае непослушания («аще кто не обрящется на реце. . . противен мне будет»). Приказ был выполнен без какого-либо сопротивления, хотя, по признанию летописца, в городе были «невернии люди», которые «плакахуся» по низверженным идолам языческих богов [11, с. 156 — 157].

Не везде дело шло так гладко. В последнее время В. Л. Янин обнаружил археологические реалии, свидетельствующие в пользу достоверности известий Иоакимовской летописи о сопротивлении, оказанном в Новгороде насаждавшим христианство посланцам Владимира [31]. Однако при этом следует учитывать и особое положение Новгорода в составе Древнерусского государства, и традиционно большую слабость княжеской власти в этом центре по сравнению с Киевом. Поэтому наблюдения В. Л. Янина не могут служить основанием для сомнений в достоверности летописного рассказа о принятии христианства в историческом ядре Древнерусского государства — на территории Среднего Поднепровья.

Сделанные выше сопоставления позволяют дать ответ на вопрос, в чем заключалась специфика принятия христианства на Руси в конце X в. по сравнению с тем, как и в каких обстоятельствах происходило это событие в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Киевскую Русь есть все основания отнести к числу тех стран, где к мо-

⁷ См., например, знаменитый рассказ в «Истории франков» Григория Турского о крещении Хлодвига. В ответ на увещания реймского епископа Ремигия Хлодвиг сказал: «Охотно я тебя слушал, святейший отец, одно меня смущает, что подчиненный мне народ не потерпит того, чтобы я оставил его богов. Однако я пойду и буду говорить с ним согласно твоим словам». И крещение Хлодвига состоялось после одобрения его намерений народным собранием [30].

менту смены веры полностью созрели социальные предпосылки для принятия новой религии. Именно поэтому оказалось достаточным авторитетного решения правящей верхушки и само это событие произошло в целом без значительных внутренних конфликтов⁸. Вывод этот представляется важным и для оценки характера общественного строя Древней Руси в конце X в., о чем, как известно, в советской историографии идут споры.

Причины именно такого, а не иного развития событий, возможно, следует видеть в том, что для правителей такой могущественной державы, как Киевская Русь, в непосредственном окружении которой во второй половине X в. не было соперников, серьезно угрожавших ее существованию, и которая не имела непосредственных границ с крупнейшими христианскими державами Европы, установление мирных и дружественных отношений с христианскими державами не было столь острой необходимостью, чтобы форсировать идеологические перемены, пока для этого в полной мере не созрели социальные условия.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Waldmüller L.* Die ersten Begegnungen der Slawen mit dem Christentum und den christlichen Völkern von VI bis VIII Jahrhundert. Amsterdam, 1976.
2. *Златарски В. Н.* История на българската държава през средните векове. Т. I, ч. 1. София, 1970, с. 134, 141—142.
3. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982, с. 293—294.
4. *Kronika. Thietmara. Poznań*, 1953.
5. *Magnae Moraviae Fontes Historici.* Т. I. Brno, 1966, с. 89.
6. *Joannis Scylitzae Synopsis historiarum*, col. J. Thurn. Berolini et Novi Eboraci, 1975, p. 269.
7. *Φωτίου ἐπιστολαί*, ed. J. N. Baletta. London, 1864, s. 178.
8. *Corpus scriptorum historiae Byzantinae.* Т. 31. Bonn, 1838, p. 342.
9. *Poulik J.* Chropovský V. a kol. Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha — Bratislava, 1985, s. 109—110.
10. Гръцки извори за българската история. Т. III. София, 1960, с. 283.
11. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л., 1950.
12. *Рыбаков В. А.* Язычество древней Руси. М., 1987, с. 412 и сл.
13. *Łowmiański H.* Religia słowian i jej upadek (VI—XII w.). Warszawa, 1979, s. 119.
14. *Poulik J.* Kontakty stare Moravy z karolinským prostředím.— In: *Z dějin Slovanů na území CSSR.* Uherské Hradiště, 1971.
15. *Спорри Стураусон.* Круг земной. М., 1980.
16. *Ковалевский С. Д.* Образование классового общества и государства в Швеции. М., 1977, с. 97—99.
17. *Гуревич А. Я.* Норвежское общество в раннее средневековье. М., 1977, с. 213 и сл.
18. *Королюк В. Д.* Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья. М., 1985, с. 77 и сл.
19. *Wolfram H.* *Conversio Bagoariorum et Carantanorum.* Wien — Köln — Graz, 1979, S. 44.
20. *Monumenta Germaniae Historicae. Scriptorum.* Т. XXX/2. Leipzig, 1934, p. 732.
21. *Johannes Turmayr's gen. Aventinus Sämtliche Werke.* Bd. II/1. München, 1881, S. 411.
22. *Legenda Christiani.* Ed. J. Ludvikovský. Praha, 1978, s. 19—20.
23. *Тржешич Д.* Великая Моравия и возникновение государства Пржемысловцев (Святополк и Борживой).— В кн.: Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985.
24. *Scriptores rerum hungaricarum.* Т. II. Budapest, 1938, s. 379, 394. p. 732.
25. *Златарски В. Н.* История на българската държава през средните векове. Т. I, ч. 2. София, 1971, с. 68—74.
26. *Толстов С. И.* По следам древнехорезмийской цивилизации. М.—Л., 1948, с. 257—258.
27. Повесть временных лет. Ч. I. М.—Л., 1950, с. 39.
28. *Литаурин Г. Г.* К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги.— В кн.: Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. М., 1986.
29. *Monumenta Germaniae Historicae. Scriptorum.* Т. I. Leipzig, 1925, p. 624—625.
30. *Григорий Турский.* История франков. М., 1987, с. 50.
31. *Янин В. Л.* Крещение Новгорода и христианизация его населения.— В кн.: Введение христианства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси. (Сб. тезисов.) М., 1987.

⁸ Это не значит, что в Древней Руси вообще не было антихристианских выступлений сторонников язычества. Такие выступления, весьма крупные по своим размерам, отмечаются источниками второй половины XI в., но они отражают уже реакцию народных масс на деятельность церкви и политику феодального государства.



ИТОГИ XI ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИСТОРИКОВ—СЛАВИСТОВ

ЗАГОРУЛЬСКИЙ Э. М., МЕЛЬЦЕР Д. В., ПОЗДНЯК С. В.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ

27—29 января 1988 г. в Минске проходила XI Всесоюзная научная конференция историков-славистов «Великий Октябрь и зарубежные славянские страны». Ее организаторы — Министерство высшего и среднего специального образования СССР, Министерство высшего и среднего специального образования БССР, Институт славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) и Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина (БГУ).

В конференции приняли участие 276 историков-славистов из 12 научно-исследовательских институтов Академий наук СССР, УССР, БССР и МССР, 61 высшего учебного заведения 49 городов страны, а также болгарские аспиранты, обучающиеся в БГУ. Творческое обсуждение важнейших проблем исторического славяноведения позволило критически оценить достигнутое, обсудить актуальные направления дальнейших исследований.

С приветствием к участникам конференции обратились заместитель министра высшего и среднего специального образования БССР С. А. Малевич и председатель секции истории Научно-технического совета Минвуза СССР В. И. Кузицин.

На пленарном заседании было 4 доклада. Огромному воздействию Великой Октябрьской социалистической революции на историческое развитие зарубежных славянских народов был посвящен доклад научных сотрудников ИСБ Р. П. Гришиной, И. И. Костюшко, М. М. Сумароковой. Проанализировав развернувшееся в Болгарии, Польше, Чехословакии и Югославии широкое движение за демократические права и свободы в тот период, докладчики показали и усиление реакционных тенденций в политике имущих классов. Подчеркивалось, что большим событием в политической жизни зарубежных славянских народов было создание коммунистических партий, которые последовательно отстаивали интересы трудящихся масс, возглавляли их борьбу против политического, социального и национального угнетения.

В докладе директора Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР С. В. Марцелева «Великий Октябрь и развитие культуры в славянских странах» значительное место было уделено углублению культурных связей и духовному взаимообогащению братских славянских народов.

Доклады директора Института славяноведения и балканистики АН СССР В. К. Волкова и председателя славянской комиссии секции ис-

тории Научно-технического совета Минвуза СССР В. Г. Карасева были посвящены основным задачам историко-славянских исследований на современном этапе. Задачей номер один, подчеркивалось ими, является неустанное повышение профессионализма.

В докладе Д. Б. Мельцера говорилось о развитии исторической славистики в Белорусском государственном университете.

Работа конференции была продолжена в пяти секциях. На трех заседаниях первой секции «Великий Октябрь и зарубежные славянские народы в межвоенный период» было 2 доклада и 39 сообщений. Их тематика в значительной степени отразила реальное положение дел в изучении истории славянских народов в межвоенный период. Новые и весьма убедительные сообщения в отношении становления белорусской государственности прозвучали в докладе И. М. Игнатенко (Институт истории АН БССР). Взаимодействию социальной структуры и политического развития народов стран Центральной и Юго-Восточной Европы был посвящен доклад Р. П. Гришиной.

Работа первой секции продемонстрировала дельные попытки сравнительно-исторического анализа в соответствии с требованиями исторической правды. Для большинства докладов и сообщений были характерны новые научные вопросы. Свидетельством вдумчивой научной работы, критического анализа источников стало сообщение Г. Ф. Матвеева (МГУ) с убедительной классификацией так называемых крестьянских партий в зарубежных славянских странах в межвоенный период. Большой интерес и дискуссии вызвали сообщения «Югославянский вопрос в политике Великобритании в конце 1917—1918 гг.» Е. В. Сахновского (Черновицкий ун-т), «Участие Г. Бакалова в движении против фашизма, в защиту демократии после переворота 9 июня 1923 г. в Болгарии» Г. И. Чернявского (Харьковский ин-т культуры), «Проблемы кризиса буржуазного парламентаризма в откликах чехословацких современников (1930-е годы)» Е. Ф. Фирсова (МГУ), «Антивоенное движение молодежи Польши в 30-е годы» Т. А. Бадюковой (Гродненский ун-т).

В количественном отношении доминировали сообщения по внешнеполитической проблематике. Вопросы о буржуазных социально-политических системах, историко-культурные сюжеты, социально-экономическая история славянских народов в межвоенный период, как показала конференция, исследованы еще далеко недостаточно.

Работа второй секции «Великий Октябрь и строительство социализма в зарубежных славянских странах» началась с общего секционного заседания, на котором было 6 докладов: «Антифашистская освободительная борьба в странах Центральной и Юго-Восточной Европы» В. В. Марьиной (ИСБ), «Становление социалистического содружества в Европе: методология изучения» В. К. Волкова, «Исторический опыт Октября и строительство социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы» Г. П. Мурашко и А. Ф. Носковой (ИСБ), «Проблемы становления и развития социалистической культуры в зарубежных славянских странах» М. Б. Ешича и М. П. Кузьмина (ИСБ), «Роль народных масс в развитии международных отношений нового типа» Л. В. Лойко (Высшая партийная школа при ЦК КПБ), «Процессы перестройки и советско-болгарские отношения» П. С. Соханя (Ин-т истории АН УССР). В них была сделана попытка определить применительно к изучаемым странам круг проблем, которые в условиях перестройки и творческого обогащения теории социализма после апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 г. требуют новых подходов и нового информационного уровня. В докладах были названы актуальные проблемы социализма в НРБ, ПНР, ЧССР, СФРЮ, нуждающиеся в первоочередной разработке.

В прениях активно обсуждались вопросы состояния источниковой базы, унификации понятийного аппарата и терминологии, устранения «белых пятен». В дискуссии приняли участие В. Г. Сироткин (Дипломатическая академия) и Ф. Т. Константинов (Ин-т философии АН СССР).

В подсекции «Антифашистское движение сопротивления, революции 40-х годов и формирование социалистического содружества» было 14 со-

общений. Рассматривались три направления: национально-освободительная борьба, революции, международные связи и межгосударственные отношения. Несмотря на разнородность, сообщения содержали весьма ценную и глубоко осмысленную информацию, вызвали большую заинтересованность и многочисленные вопросы. Е. Л. Валева (ИСБ) свое выступление посвятила отражению проблем антифашистского движения Сопротивления в материалах XVI Международного конгресса исторических наук. В прениях активно обсуждались сообщения: Н. О. Дармаева (ЛГУ) о формировании четнического движения в начале освободительной борьбы в Югославии в 1941 г., Н. И. Туривненко (Донецкий ун-т) о славянской эмиграции в страны Америки и ее связях со Всеславянским комитетом в 1941—1948 гг., В. Е. Снапковского (Ин-т истории АН БССР) о борьбе делегаций СССР, УССР, БССР в защиту суверенитета и независимости Албании, Болгарии и Югославии при обсуждении в ООН греческого вопроса, П. П. Матевки (Ужгородский ун-т) о позиции Югославии по вопросу перестройки международных экономических отношений, М. В. Стрельца (Брест) об основных тенденциях, проблемах и противоречиях в политике ФРГ в отношении Польши.

В подсекции «Проблемы строительства социализма и развития культуры в зарубежных славянских странах» было 27 сообщений, в том числе 16 с общен исторической проблематикой и 11 — с историко-культурной. Большинство выступлений — сообщения Л. Р. Хут (Адыгейский пед. ин-т), Г. М. Ачагу (Кубанский ун-т), Ю. Ф. Зудинова (Ин-т экономики мировой социалистической системы АН СССР), С. Ю. Лукаша, Г. Н. Попова (Харьковский ун-т), Н. М. Чалой (Ин-т социологических исследований АН СССР), А. А. Лашкевича (Ин-т истории АН БССР), О. В. Петровской (МГУ), Н. В. Мухиной (Киевский ин-т культуры) — было посвящено вопросам истории развития экономики и культуры Народной Республики Болгарии. Остальные сообщения в страноведческом отношении распределились следующим образом: по Чехословакии — 7, Польше — 5, Югославии — 4, общерегионального характера — 2. В целом число участников, занимающихся проблематикой социализма, по сравнению с предыдущей (Харьковской) конференцией увеличилось.

На заседаниях третьей подсекции «Проблемы сотрудничества социалистических государств» было 31 сообщение: по общим проблемам сотрудничества — 12, по экономике и научно-техническим связям — 11, по культурному взаимодействию — 8. Показательно, что 9 выступлений были посвящены вкладу БССР в углубление всестороннего сотрудничества Советского Союза с зарубежными славянскими странами, среди них сообщения Э. С. Ярумсика (Гродненский ун-т), Л. П. Мирочницкого и Г. Г. Сергеевой (Ин-т истории АН БССР), В. И. Адамушко (БГУ). В третьей подсекции, так же как и во второй, преобладала болгарская тематика. Так, если развитие двустороннего сотрудничества с Болгарией были посвящены 14 выступлений, то связям с Польшей — 8, с Югославией — 3, а с Чехословакией — только 1 сообщение. Углубленному анализу подверглись вопросы периодизации сотрудничества братских стран, развития прямых производственных связей. В работе подсекции приняла участие значительная часть молодых исследователей, продемонстрировавших и смелость постановки вопросов, и хорошее владение материалом. Необходимо обратить внимание и на то, что в некоторых сообщениях проявились серьезные недостатки застойного характера: не изжитое стремление к приукрашиванию, парадности, уход от освещения негативных моментов в сотрудничестве наших народов.

Работа третьей секции «Зарубежные славянские народы в эпоху феодализма» протекала по трем основным направлениям: аграрные отношения, средневековый город, проблемы самосознания. На секции были доклады Е. П. Наумова (ИСБ), М. М. Фрейденберга (Калининский ун-т), Г. Г. Литаврина (ИСБ), а также 40 сообщений. В процессе обсуждения докладов и сообщений четко обозначилось (выявилось) и четвертое направление — межславянские культурные и экономические связи, которое, по мнению В. Е. Задорожного (Ужгородский ун-т), М. М. Фрейденберга и других,

необходимо включить в повестку дня следующей конференции историков-славистов. Работа секции показала нарастающий интерес к истории религиозной мысли (и истории церкви в целом), к источниковедческим вопросам и в то же время недостаточность внимания к социально-психологической тематике (одно сообщение — В. А. Пирко, Донецкий ун-т), развитие государства (тоже одно — А. П. Грицкевич, Минский ин-т культуры). В целом же оптимизм вызывает широкое участие в работе секции молодых научных сил.

На четвертой секции, посвященной общей большой проблеме «Национально-освободительное движение славянских народов. Конец XVIII — начало XX в.», было 4 доклада, 55 сообщений; 8 исследователей выступили в заключительной дискуссии. Ряд вопросов был обсужден непосредственно после некоторых докладов и сообщений.

В процессе работы секции выявилось несколько главных исследовательских направлений, которые не совсем были связаны с заранее обозначенными докладами. Первое направление сконцентрировалось вокруг доклада В. Г. Карасева «Национальное возрождение славянских народов: общее и особенное». Непосредственно по теме национального возрождения было сделано два специальных сообщения — И. И. Свириды и А. В. Даниловой (ИСБ). Кроме того, было 20 сообщений по различным аспектам национально-освободительного движения южных и западных славян, взаимоотношений славянских народов между собой, роли России в деле национального возрождения зарубежных славян. Последний вопрос осветили Н. С. Киняпина (МГУ) и Н. Е. Аблова (БГУ).

Второе направление было связано с темой доклада И. И. Лециловской (ИСБ) «Классы и социальные слои в славянских национально-освободительных движениях в XIX в.». С этой проблемой соотнеслись сообщения С. А. Таракановой, А. И. Хоровой (МГУ), О. В. Медведевой (ИСБ), В. А. Хилоты (Гродненский ун-т), А. Г. Кожановского (БГУ), В. П. Чорния (Львовский ун-т). Сообщения В. В. Шведа (Гродненский ун-т) и Н. А. Дучипиной (Калининский ун-т) были посвящены торговым связям славянских народов. Вообще отрадно отметить, что в условиях потери интереса исследователей к экономической истории историки-слависты на XI конференции сделали интересные сообщения по сложным проблемам социально-экономического характера.

Третье направление сконцентрировалось по докладу В. Я. Гросула (Ин-т истории СССР АН СССР) и В. А. Дьякова (ИСБ) «Общее и особенное в революционно-демократических движениях России и зарубежных славянских стран». В значительной степени оттенили и конкретизировали основные положения доклада сообщения — В. В. Кутивина (Куйбышевский ун-т) о соотношении национальных и социальных задач в программах польского освободительного движения 1830-х годов и Е. Е. Станкевич (Гродненский ун-т) о соотношении национального и социального факторов в революционном движении 1848—1849 гг. в Силезии.

Четвертое и пятое направления объединились вокруг доклада Т. М. Исламова и Л. А. Обушенковой (ИСБ) «Социальные структуры и общественно-политические течения в странах Центральной Европы в конце XIX — начале XX в.». По вопросам социальных структур было 4 сообщения, в том числе А. В. Крапивина (Донецкий ун-т) и А. И. Кожушкова (БГУ), а по общественно-политическим движениям (кроме социал-демократии) в Центральной Европе — 10. Среди них значительный интерес вызвали сообщения Х. Х. Хайретдинова, З. С. Ненашевой, Е. В. Чиняевой (МГУ), Н. И. Хитровой (Ин-т истории СССР АН СССР).

На заседаниях пятой секции «Проблемы изучения и преподавания истории и истории культуры южных и западных славян» были доклады И. М. Гранчака (Ужгородский ун-т) «О порядке чтения курса истории южных и западных славян в условиях осуществления реформы высшей школы», А. С. Мыльникова и К. В. Чистова (Ленинградская часть Ин-та этнографии АН СССР) «Этническая история славян: проблема комплексной разработки».

Кроме того, на заседаниях секции было 30 сообщений, тематика кото-

рых была весьма разнообразной и условно может быть разделена на ряд смысловых блоков. Вопросам истории отечественной славистики были посвящены выступления Ф. М. Байрамова (Башкирский ун-т), Л. В. Юрченко (ИНИОН АН СССР), А. И. Митряева (Харьковский ун-т).

Второй смысловой блок составили вопросы источниковедения. Л. Л. Михайловская (БГУ) показала значение «Хроники» Б. Ваповского для изучения истории Белоруссии и Литвы XIV—XVI вв., Е. П. Кустова (ЛГУ) сопоставила мемуары Я. Пассека и Я. Храповицкого с точки зрения их ценности для исследования политической культуры польской шляхты XVII в., Л. А. Котлярская (Калининский ун-т) рассказала об источниках по истории славяноведения из рукописного наследия П. А. Ровинского, Б. С. Шостакович (Иркутский ун-т) поставил вопрос об изучении мемуаров по истории пребывания поляков в Сибири XVIII — начала XX в.

7 выступлений были посвящены персоналиям: изучению наследия А. Н. Пыпина (О. В. Лебедева, МГУ), И. Н. Смирнова (Ю. В. Пахомов, Коломенский пед. ин-т), Н. Н. Любовича (З. Е. Иванова, Петрозаводский ун-т), Н. И. Карева (Г. Т. Кручковский и А. Н. Нечухрин, Гродненский ун-т), а также советских историков М. Н. Покровского (А. И. Горяинов, ИСБ) и В. И. Пичеты (Ю. И. Курбатов, Дальневосточный ун-т).

Достаточно широко была представлена проблемная историография. В сообщениях С. М. Стецкевича (Ленинградский ун-т) и В. Я. Табачникова (Воронежский ин-т культуры) в центре внимания находились такие вопросы, как советская историография революции 1905—1907 гг. в Королевстве Польском и новейшая польская историография польского рабочего движения. Выступления А. Д. Каплина (Харьковский ун-т) и Н. И. Стужинской (Ин-т истории АН БССР) касались освещения советской (в том числе — особо — и белорусской) историографией участия славян-интернационалистов в Великой Октябрьской социалистической революции. Наконец, в двух сообщениях рассматривалась трактовка проблематики перехода от капитализма к социализму в исторической науке Югославии (К. В. Никифоров, ИСБ) и в Чехословакии (И. М. Гойло, Черновицкий ун-т).

Международные контакты освещались в сообщениях Д. В. Карева (Гродненский ун-т) «Белорусская, польская и русская историография в конце XVII — начале XX вв.: проблемы взаимодействия», В. И. Кадеева (Харьковский ун-т) «Украинско-чешско-словацкие научные связи в последней четверти XIX — начале XX вв.», И. Г. Воробьевой (Калининский ун-т) «Дубровницкая и далматинская поэзия XV—XVII вв. и русская культура XIX в.».

Всего на секционных заседаниях было 252 сообщения, из них 88, или почти одна треть, посвящены истории Польши. По истории Чехословакии и Югославии в новое и новейшее время было соответственно 29 и 38 сообщений.

На заключительном пленарном заседании вниманию участников конференции был предложен доклад Э. М. Загорюльского (БГУ) «О начальном этапе славянского этногенеза», основанный на комплексном изучении лингвистических, археологических и частично антропологических данных. Историю славян, по мнению докладчика, следует начинать со времени расселения к середине III тысячелетия до н. э. в Средней и Восточной Европе индоевропейских скотоводческих племен и начавшегося распада древнеевропейской общности на отдельные ветви — славян, балтов и германцев. В докладе была четко определена прародина славян — области Средней Европы к северу от Карпат.

Главный редактор журнала «Советское славяноведение» А. К. Кавко в своем выступлении напомнил, что проблемы, стоящие сегодня перед журналом, изложены в его редакционной статье (1988, № 1). Он остановился на уточнении нескольких вопросов, в частности, на необходимости дальнейшей разработки собственно славистических направлений, исходя из профиля издания; на изучении проблем многообразия и единства социализма в свете теоретических положений XXVII съезда КПСС, съездов

братских партий, а также на представительстве вузовской славистики на страницах «Советского славяноведения». Журнал упрекают в недостатке внимания к проблемам преподавания славистических дисциплин в вузах, к подготовке научных кадров вообще. Накопившиеся здесь трудности, нерешенные вопросы все ощутимее испытывает на себе и академическая наука. Журнал заинтересован в деловом и компетентном обсуждении этих и других назревших проблем. Вслед за В. К. Волковым, другими участниками конференции А. К. Кавко с горечью констатировал тот факт, что соотношение числа славяноведческих научных центров в СССР и зарубежных капиталистических странах не в пользу советского славяноведения. Один из славянских народов (должно быть, единственный) — белорусский — к сожалению, не может похвалиться наличием кафедры истории южных и западных славян даже в Белорусском государственном университете им. В. И. Ленина, не имеет своего славистического журнала.

Доклады, сообщения и выступления в дискуссиях показали необходимость обратить внимание на ряд научных и организационных вопросов, которые требуют конструктивного решения сегодня и одновременно ориентируют на длительную перспективу.

Участники конференции были единодушны в том, что в условиях революционной перестройки всех сторон жизни нашего общества наиболее полное использование научного потенциала историков-славистов возможно только при координации и кооперации историко-славистических исследований академических институтов и вузов страны на общесоюзном уровне. Подчеркивалась необходимость при обсуждении перечня приоритетных тем предусмотреть темы, нуждающиеся в комплексной междисциплинарной разработке на основе межведомственной координации АН СССР, Минвуза СССР и других ведомств, к которым относятся научные учреждения, где работают ученые, исследующие проблемы истории и культуры не только южных и западных, но и восточных славян и общеславянскую проблематику.

К приоритетным темам предлагалось отнести: комплексную разработку этнической истории славянских народов; историю антифашистской борьбы, рассматриваемую в диалектическом единении с историей народной демократии и строительства социализма; изучение вопросов экономического и научно-технического сотрудничества как фактора ускорения общего развития социалистических стран, вопросов идеологического и политического сотрудничества как важных факторов сплочения стран социалистического сотрудничества. Был вновь поставлен вопрос о создании сводных очерков истории культурных связей между народами СССР и европейских социалистических стран с древности до настоящего времени.

В прениях по докладам и при подведении итогов работы секций было обращено внимание на выявление «белых пятен» для славистических исследований, собиране и критический анализ научного наследия советских историков-славистов, ставших в 30—40-х годах жертвами необоснованных репрессий.

Важной задачей, отмечалось на конференции, является изучение и критика современной немарксистской славистической историографии США, Канады, Франции, ФРГ, Англии, Японии. В целях принципиальной и научно обоснованной борьбы с буржуазной и ревизионистской идеологией признано считать актуальной задачей создания серии историко-теоретических монографий, посвященных наследию левых деятелей международного рабочего движения конца XIX — начала XX вв., в частности, Р. Люксембург.

Участники конференции единодушно поддержали высказываемую научной общественностью идею о назревшей необходимости организации Всесоюзного общества историков, а также создания всесоюзного научно-популярного исторического журнала.

Широко обсуждался вопрос о состоянии источниковой базы историко-славистических исследований, об обеспечении доступа к архивным материалам в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, МИД СССР,

ЦАМО и др. Наряду с информационным обеспечением большое внимание было уделено организационному совершенствованию исследования и преподавания истории зарубежных славян.

В решениях конференции подчеркивалась необходимость всемерного укрепления существующих и создания новых славистических центров при академиях наук УССР и БССР и университетах страны, призванных способствовать повышению знаний советских людей об истории и современном развитии европейских социалистических стран. Кафедре истории южных и западных славян МГУ им. М. В. Ломоносова было поручено в сотрудничестве с другими славистическими центрами подготовить и издать учебники и учебные пособия, необходимые для обеспечения преподавания исторической славистики и специализации студентов в этой области.

Учитывая существенную роль славистики в современном историческом сознании, выступавшие говорили о необходимости просить Министерство культуры СССР предусмотреть подготовку центральными библиотеками издания справочника и библиографических указателей художественной литературы, посвященных прошлому и настоящему зарубежных славянских народов и их связям с народами Советского Союза.

Участники секционных заседаний предложили проводить между всесоюзными конференциями историков-славистов региональные коллоквиумы по отдельным актуальным проблемам истории славянских стран.

Работа XI Всесоюзной конференции историков-славистов, таким образом, продемонстрировала кровную заинтересованность советских историков-славистов в повышении профессионального уровня их научных исследований и педагогического мастерства.



МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ¹

Следуя духу гласности и перестройки, можно посетовать на то, что среди 17 докладов и 236 сообщений, оглашенных на конференции, было досадно мало выступлений, касающихся вопросов истории культуры, выдающихся просветителей славянских народов, особенно в контексте взаимодействия восточных, западных и южных славян. Право, обидно, что организаторы не нашли возможным включить в программу всесоюзного славистического форума хотя бы одну тему, посвященную Франциску Скорине (в связи с 500-летием со дня рождения), выдающемуся первопечатнику и просветителю, занимающему видное место в общеславянской и общеевропейской культуре.

Молчанием обойдены на конференции и такие именитые фигуры революционных демократов, как В. Левский, К. Калиновский, юбилей (150 лет со дня рождения) которых напоминают об их подвижнической жизни во имя освобождения своих народов от национального и социального гнета, единения славян под знаменем свободы и независимости. В этой связи хотелось бы подчеркнуть: более углубленное и всестороннее изучение специфических черт истории культуры, национально-освободительного движения того или иного славянского народа важно также для типологических обобщений рассматриваемой проблемы. Чтобы лучше и глубже понять друг друга, мы обязаны помнить о таких фактах, хранить и приумножать духовное богатство каждого народа — это только укрепляло бы подлинный интернационализм, притягательный, говоря словами Павла Тычины, «чувством семьи единой».

Разумеется, мои впечатления от конференции далеки от желания упрекнуть ее организаторов. Просто вспомнилась аксиома о том, что историю творят люди, народы. И это еще раз подтвердила, не без парадоксов, очередная встреча историков-славистов.

Зиморя Н. И. (Ужгородский ун-т)

Отрадно, что состоявшаяся в новых условиях конференция показала намечившийся переход исследователей от изучения истории народно-демократических и социалистических революций 40-х годов к анализу следующего этапа — истории социалистического строительства.

Вместе с тем встреча в Минске обнажила сложности, которые испытывает сейчас советская историческая наука, недостатки, накопившиеся за время застоя. В работе секции истории построения социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы это проявилось наиболее ярко: мелкотемье, уход в локальные сюжеты, повторение пройденного, все еще имеющие место догматические толкования магистральных проблем социалистических революций и строительства нового общества, нежелание критически взглянуть на достижения и просчеты, порой острая негативная реакция на попытки ученых вскрыть истоки, объективные и субъек-

¹ По просьбе редакции участники конференции высказали свои замечания и предложения по совершенствованию научных встреч историков-славистов.

ективные причины трудностей социалистического строительства, несоответствия планов и результатов.

И все-таки лед тронулся. Новые подходы, новая методология, новые оценки пробивают себе дорогу. Приятно и симптоматично, что это идет не только из «центра», из головных профильных научно-исследовательских учреждений, но и из «глубинки».

Представляется, что успех новому прочтению истории социализма в странах региона может быть обеспечен в значительной мере и новыми формами работы соответствующей секции на славистических конференциях. Может быть, целесообразно в будущем заблаговременно, допустим за год, оргкомитету или инициативной группе (группам) определить для обсуждения ряд конкретных крупных проблем, вокруг которых и вести дискуссии (по типу «круглого стола»). Так сформируются, видимо, разные по числу участников неформальные коллективы людей, заинтересованных в углубленном изучении и широком обсуждении того или иного вопроса истории строительства социализма. Это позволит отказаться от навязывания аудитории всех тех, зачастую мелких и частных вопросов, которые означены в пространной программе работы конференции, сосредоточиться на узловых проблемах, полнее задействовать человеческий фактор при переходе от экстенсивных форм научной работы к интенсивной по сути деятельности исследователя.

Мурашко Г. П., Носкова А. Ф.
(Ин-т славяноведения и балканистики
АН СССР)

В целом XI Всесоюзная научная конференция историков-славистов в Минске оставила приятные воспоминания. И все же...

При подведении итогов ее работы отмечалось, что привычная структура секций в настоящее время является анахронизмом и нуждается в перестройке. Если внимательно просмотреть программу конференции, то окажется, что многие доклады и сообщения, разделенные по разным секциям, фактически могли бы заинтересовать более широкий круг участников, которые, однако, тоже были распределены по разным и параллельно работавшим секциям. Это, разумеется, снижало общую эффективность заседаний, не позволяло принять участия в заслушивании выступлений и их обсуждении всем специалистам, которые могли бы сказать свое авторитетное слово. В особенности это относится к третьей («Зарубежные славянские народы в эпоху феодализма»), четвертой («Национально-освободительное движение славянских народов. Конец XVIII — начало XX вв.») и пятой («Проблемы изучения и преподавания истории и истории культуры южных и западных славян») секциям.

Негативный эффект усиливается еще и потому, что отбор докладов и сообщений по секциям оказался весьма уязвимым. В программу пятой секции были включены выступления не только по истории исторического славяноведения, но и по так называемой проблемной историографии. Поскольку же прямых специалистов по этим вопросам среди участников секции было мало, то и должного обсуждения не получилось. Наверное, полезнее было бы перенести сообщения по проблемной историографии на секции, где соответствующая тематика рассматривалась.

Что предлагается? Во-первых, доклады, имеющие более широкий характер и могущие заинтересовать славистов, исследующих различные хронологические периоды, ставить либо на пленарных, либо на межсекционных заседаниях. Лично я не получил удовлетворения от того, что доклад, представленный нами совместно с К. В. Чистовым «Этническая история славян: проблема комплексной разработки» и посвященный всему кругу этой проблемы, от раннего феодализма до социализма, был включен в программу пятой секции. Славистов, которые могли бы принять участие в дискуссии по этой действительно комплексной теме, к обсуждению привлечь, естественно, не удалось: они были заняты на других секциях.

Во-вторых, нужно отказаться от постоянных секций, заменив их подвижными тематическими — опыт такого рода имеется. Тогда удалось бы сгруппировать по каждой секции блок докладов и сообщений, объединенных общностью тематики и как следствие этого — аудитории. По окончании работы секция прекращала бы существование, а ее участники расходились по другим секциям, тематика которых отвечает их интересам. При разумном сочетании таких подвижных секций удалось бы максимально охватить участников конференции вопросами, которыми они занимаются и в которых являются специалистами. Вместе с тем предлагаемый порядок позволил бы лучше сочетать знания славистов старшего и младшего поколений, обеспечить действительно деловое обсуждение, обмен мнениями и — при необходимости — консультации.

Перестройка нужна. Ведь каждая всесоюзная конференция историков-славистов является этапом в развитии нашей науки. Она наглядно демонстрирует не только рост ее уровня, но и расширение географии. Не случайно среди участников конференции были представители не только Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов, где славистика имеет давние традиции, но и городов, где она завоевывает позиции сравнительно недавно. И хочется, чтобы будущие конференции были подлинным смотром уровня исторической славистики. Смотром деловым, взыскательным и товарищеским. Потому минский урок должен быть усвоен в полную меру.

Мыльников А. С.
(Ленинградский филиал Ин-та этнографии АН СССР)

Доклады и сообщения по средневековой истории славян группировались вокруг трех главных тем. Мысли, высказанные Е. П. Наумовым (Москва) о задачах изучения крестьянства феодальной эпохи и М. М. Фрейденбергом (Калинин) о типологии средневекового южнославянского города, участники секции поддержали, опираясь на разнообразный конкретный материал, или встретили аргументированной критикой. Ярче других прозвучали выступления В. А. Пирко (Донецк) о духовном облике крестьянства Речи Посполитой в XVII—XVIII вв. и Г. П. Мельникова (Москва) о последствиях гуситского движения для чешского города XV—XVI вв. В высшей степени интересные тезисы были выдвинуты Г. Г. Литавриным (Москва) в докладе о генезисе и этапах становления этнополитического сознания славян в средние века. Много вопросов вызвало сообщение М. В. Дмитриева (Москва) о конфессиональных особенностях православия как важном факторе городских религиозно-общественных движений XVI—XVII вв. в восточных землях Речи Посполитой и в России. В то же время обозначилась еще одна важная тема — межславянские экономические, политические и, в особенности, культурные и духовные связи эпохи средневековья. К ней обращены интересы многих исследователей, в том числе и молодых, что продемонстрировало содержательное выступление М. А. Акулич (Минск) о бытовании на Балканах белорусской книги XVI—XVII вв.

Итоги работы секции показали, что задачу организации обсуждения определенных оргкомитетом главных тем необходимо переложить на плечи самих участников конференции. Связь сообщений с основными докладами не должна быть формальной. Этого можно достичь заблаговременным ознакомлением славистов с тезисами докладов, чтобы предлагаемые сообщения развивали, корректировали или оспаривали их, а не удовлетворяли узкотемные, «местнические» интересы авторов.

Польвянский Д. И.
(Ивановский ун-т)

АКАДЕМИК И. В. ЯГИЧ. К 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В июле 1988 г. исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося слависта И. В. Ягича. Его многочисленные труды по славянскому языкознанию, палеографии, истории и этнографии славян, литературоведению и фольклористике составили эпоху в истории мирового славяноведения и во многом определили пути его развития. И. В. Ягич вошел в историю науки и как замечательный организатор и руководитель научных исследований, подготовивший немало крупных ученых для многих европейских стран.

Ватрослав (Игнатий Викентьевич) Ягич родился 6 июля 1838 г. в Вараждине (Хорватия) в семье обедневших дворян. В 1860 г. он окончил отделение классической филологии Венского университета, где одновременно занимался славяноведением под руководством Ф. Миклошича. В последующие годы И. В. Ягич — учитель греческого и латинского языков в одной из гимназий Загреба, а также секретарь Совета по делам среднеучебных заведений Хорватии, секретарь литературно-научного и просветительного общества «Матица Иллирска», редактор филологической части журнала «Књижевник», выходявшего в 1863—1866 гг.

В эти годы началась научная деятельность Ягича в области изучения истории сербохорватской литературы и языка, старославянской письменности. В 1861 г. выходит статья «Замечания о сербской народной поэзии», написанная с позиций школы Бенфея, а в 1867 г. — книга «История сербохорватской литературы», которая была переведена М. Н. Петровским на русский язык и издана в Казани (1871). Большое влияние на Ягича оказали статьи В. Г. Белинского, журналы «Современник» и «Отечественные записки» [1]. Наиболее значительные работы были посвящены старославянскому языку и памятникам древней славянской письменности. Во введении к «Ассеманиеву евангелию», изданному Ф. Рачким (1865), Ягич первым указал на взаимоотношения древнейших кирилловских и глаголических текстов евангелия и пришел к выводу, что паннонская теория Копитара и Миклошича не имеет под собой достаточных языковых и исторических оснований. В работе «Материалы для глаголической палеографии» (1869) он описал отрывок глаголического списка посланий апостола Павла, имевший большое значение для дальнейшего изучения глаголицы. Важным было и издание старых хорватских и сербских текстов (Житие св. Катерины, Сказание об Александре Македонском, сочинения М. Марулича и др.). В книге «Примеры старохорватского языка из глаголических и кирилловских книжных памятников» (ч. I—II, 1864—1866) наряду с древнейшими текстами помещено немало произведений XIII—XVI вв.

В 1870 г. Лейпцигский университет присудил Ягичу степень доктора философии за диссертацию о корне *dě-* в славянских языках. На его

труды обратили внимание как в Сербии и Хорватии, так и за рубежом. Он был избран действительным членом Югославянской академии наук и искусств, действительным членом Матицы Сербской (Нови Сад), Общества сербской словесности (Белград), членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.

В 1870 г. Ягич был уволен из гимназии в связи с происшедшими в Загребе уличными демонстрациями, в которых приняли участие и гимназисты. Ему запрещалось находиться на государственной службе в пределах Австро-Венгрии. Он обратился за помощью к И. И. Срезневскому, надеясь получить в России место учителя классических языков в какой-нибудь гимназии. По представлению Срезневского Петербургский университет присудил Ягичу степень доктора славянской филологии (1870), что давало ему возможность занять кафедру в одном из российских университетов. Совет Новороссийского университета на основе отзыва В. И. Григоровича избрал его экстраординарным профессором кафедры сравнительного языкознания и санскрита.

В июле 1872 г. Ягич приехал в Одессу. Здесь он читал сравнительную грамматику индоевропейских языков, санскрит и греческую грамматику. Но эти предметы не стояли в центре его научных интересов. Надежды занять кафедру славянской филологии не оправдались, так как Григорович никак не уходил в отставку; более того, он «ревновал» к Ягичу свою науку и не хотел предоставить ему возможность читать систематические курсы по славяноведению [2]. В научном отношении одесский период также не был плодотворным для ученого. Из более значительных работ удалось опубликовать лишь апокрифический отрывок из дамаскина XVI—XVIII вв. и Житие Стефана Лазаревича¹.

В 1874 г. Ягич перешел в Берлинский университет на кафедру славянских языков и литератур. Но и здесь чувство одиночества и отсутствие студентов, желающих заниматься славянской филологией, его сильно угнетали. Чтобы как-то оправдать свое пребывание в Берлине и получить моральное удовлетворение, Ягич решил издавать журнал «Archiv für slavische Philologie», который должен был стать «представителем русско-славянской науки перед Европою» [5]. В течение 44 лет (1876—1920) журнал выходил под его редакцией (всего вышло 37 томов) и действительно играл роль объединяющего центра в области славяноведения. К сотрудничеству в журнале Ягич привлек лучших специалистов по языкознанию, литературоведению, истории и славянским древностям. Из ученых России в нем публиковали свои исследования и рецензии И. А. Бодуэн де Куртена, Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский, Я. К. Грот, П. И. Житецкий, Ф. Е. Корш, В. Ламанский, А. А. Потебня, И. И. Срезневский, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов и др. Журнал скоро приобрел известность в России, среди западных и южных славян, а также в Германии, Англии и Франции. Важную роль сыграли и библиографические обзоры, автором которых в большинстве случаев был сам Ягич. Эти обзоры знакомили европейского читателя со всеми новинками славянской литературы. Среди них первое место занимали труды русских ученых. Только с 1875 по 1914 г. Ягич опубликовал рецензии и отзывы почти на 80 книг, вышедших в России, не говоря о журнальных статьях. Все это способствовало большому росту в Европе авторитета русской и славянской науки.

В Берлине Ягич продолжил изучение южнославянской письменности. Он издал сербскую Александриду, Зографское евангелие (1879), Закон Винодольский (1880). Благодаря его работе «Описание и извлечение из нескольких южнославянских рукописей» стали известны многие важные памятники сербской и болгарской редакции. В исследовании о Зографском евангелии он одним из первых применил статистический метод для выяснения употребления Ъ и Ь.

В апреле 1880 г. Ягич единогласно был избран экстраординарным академиком Петербургской АН по Отделению русского языка и словес-

¹ Об одесском периоде жизни И. В. Ягича см. [3—4].

ности (на место умершего И. И. Срезневского) и профессором Петербургского университета. В университете он читал курсы: старославянская грамматика, отношения между западнославянскими и южнославянскими языками, историческая грамматика русского языка, сравнительная грамматика славянских языков, отношение церковнославянского языка к славянским наречиям, истории сербохорватской литературы, славянская палеография, польский, сербский и литовский языки. Вокруг Ягича образовался кружок, в котором читались и обсуждались рефераты (Д. И. Шаховской, Е. В. Петухов, Н. В. Шляков, П. К. Симион, А. А. Григорьев, Н. А. Смирнов и др.). Под его руководством сформировался как филолог и А. А. Шахматов.

С переездом в Петербург Ягич получил хорошие возможности для изучения и издания древних памятников. В 1882 г. выходит его книга «Образцы языка церковнославянского по древнейшим памятникам глаголической и кирилловской письменности». В ней были опубликованы отрывки из Зографского, Мариинского, Ассеманиева евангелий, Сборника Клоца, Синайского требника, Саввиной книги, Слуцкой псалтыри, Супрасльской рукописи, а также листки Македонский, Киевские, Хиландарские, Ундольского, Куприянова. В приложении даны древнерусские и древнесербские памятники. Тексты изданы отчасти по рукописям, отчасти по печатным изданиям.

В 1883 г. появилось образцовое издание Мариинского евангелия, найденного В. И. Григоровичем еще в 1844—1845 гг. на Афоде. При этом Ягич заменил глаголическое письмо кириллицей и сделал тем самым памятник общедоступным. В остальном весь текст издан с палеографической точностью, строка в строку, буква в букву. Недостающие листы восполнены за счет других кодексов (Зографского и Дечанского). В приложении приведены приписки на полях, отмечены палеографические и грамматические особенности. На основе приписок с признаками сербохорватского извода XIII—XIV вв. Ягич высказывает предположение, что Мариинское евангелие было написано сербом где-то в Боснии или южнее.

В 1884 г. Ягич издает «Четыре критико-палеографические статьи». Это рецензии на труды архим. Амфилохия (Сергиевского), В. С. Миллера и Л. Гейтлера, представляющие собой в то же время исследования о происхождении славянских азбук, языке древнейших переводов священного писания и признаках южнорусских памятников. Опровергнув предположение Гейтлера об албанском происхождении глаголицы, Ягич возводит ее к греческому курсиву и иллюстрирует это снимками с греческих курсивных текстов VIII—X вв. и славянских глаголических и кириллических букв X—XI вв., а также греческих унциальных букв IX—X вв.

В 1886 г. Ягич издает «Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг.». Это издание составило первый том задуманной им серии «Памятники древнерусского языка». Автор приходит к выводу, что текст канонов и стихир в служебных минеях представляет собой два различных перевода: древнейший, употреблявшийся с начала XI в. до второй половины XIV в., и новый, впервые встречающийся в сербских рукописях конца XIV в. В XV—XVI вв. он распространился на славянском юге и на Руси. Изданные тексты представляют собой ценный материал для истории церковнославянского языка и славянской письменности.

Издание древних памятников имело в России давнюю традицию. Но при публикации текстов использовался главным образом буквальный метод, т. е. точная передача типографскими средствами текста одной рукописи. Уже члены Румянцевского кружка (особенно Востоков и Калайдович) достигли в этом больших успехов. Однако в последующем Бодянский и Срезневский, стремясь издать каждый вариант в отдельности, начали постепенно утрачивать необходимую точность. Ягич положил начало критическому методу, предполагающий публикацию научно прочитанного, реконструированного текста на основе данных различных рукописей.

В феврале 1884 г. Ягич предложил ОРЯС начать издание серии под общим названием «Исследования по русскому языку». В этой серии появились работы М. М. Козловского «О языке Остромирова евангелия» (1885) и А. А. Шахматова «О языке повгородских грамот XIII и XIV в.» (1886). Третьей и последней была книга самого Ягича «Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке» (1895). Этим закончился первый том и все издание. В книге Ягича собраны статьи старинных книжников о происхождении старославянской письменности, азбуки, грамматической терминологии. Тем самым раскрывается история взглядов на церковнославянский язык, его функции и развитие в отдельных славянских землях. Одновременно делается ряд интересных литературных и культурно-исторических размышлений о деятельности Константина Костенечского, Максима Грека, Дмитрия Герасимова и др.

В своих работах Ягич использовал материалы древнеболгарского и древнеукраинского языков (грамматики Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого); специальные статьи посвятил открытой М. Бобровским Супрасльской летописи («Материалы по истории славянской филологии. Два письма Михаила Бобровского относительно Супрасльской рукописи», 1887), одной из первых восточнославянских грамматик И. Ужевича («Иван Ужевич, грамматик XVII в.», 1907).

Изучение истории славянской филологии Ягич продолжил в труде «Источники для истории славянской филологии. Письма Добровского и Копитара в повременном порядке» (1885). Переписка двух великих ученых охватывает период с 1808 по 1829 г. и содержит 95 писем Добровского и 150 писем Копитара. В приложении помещены письма Добровского Кеппену и Линде и Копитара — Кеппену и Калайдовичу. Эта переписка пролила дополнительный свет на становление славяноведения как науки. В письмах Добровского и Копитара содержится много биографических подробностей, характеризующих их планы, настроения, развитие взглядов. В частности, ученые довольно часто обсуждают вопрос о славянской графике и диалектной основе старославянского языка. Если Добровский считал его то сербо-болгаро-македонским, то болгарским, то македонским, то Копитар уже с 1809 г. говорит о паннонском происхождении, имея при этом в виду разные говоры: моравско-хорутанские, моравские, западноугорские, венские и др. В переписке также нашло отражение отношение к реформе Вука Караджича.

В 1897 г. Ягич издал в Петербурге второй том «Источников для истории славянской филологии» — «Новые письма Добровского, Копитара и других юго-западных славян». В этот том вошла переписка западнославянских ученых конца XVIII — начала XIX в. между собой и с учеными Австрии, Германии и России. Она представляет собой живой отголосок эпохи национального возрождения с его стремлением поднять народное самосознание и просвещение, с его интересом к истории и народной старине. В письмах Добровского отразилось изучение им переводов священного писания, в письмах Копитара и Жупана — зарождение теории словенского происхождения старославянского языка. Большой интерес представляет переписка Кеппена с Ганкой, Шафариком и Челак-ковским в связи с их приглашением в Россию, дневник Копитара и многое другое. В целом опубликован богатый и разнообразный материал, но весьма пестрый и отрывочный в отличие от первого тома.

Осенью 1886 г. Ягич покинул Петербург и переехал в Вену, где занял кафедру славяноведения, оставшуюся вакантной после выхода Миклошича в отставку. В Венском университете он читал древнеболгарскую грамматику, грамматику русского, сербохорватского, чешского и польского языков, сравнительную грамматику славянских языков, славянскую археологию, палеографию и этнографию, южнославянскую литературу до конца XVI в., историю русской литературы XVIII—XIX вв., славянскую эпическую народную поэзию и др. В первый же год Ягич организовал славянский семинарий, в котором расширяли свои знания и совершенствовали методику многие молодые слависты из разных стран. Среди них были М. Н. Сперанский, В. Н. Щепкин, П. А. Лавров,

С. М. Кульбакин, В. А. Францев, Г. А. Ильинский, Ф. Пастрнек, М. Мурко, В. Облак. По инициативе Ягича при Балканской комиссии Венской АН был создан диалектологический сектор для изучения южнославянских языков и диалектов (Л. Милетич, М. Решетар, М. Бартоли и др.).

В Вене Ягич продолжил изучение памятников старославянского языка. Он обнаружил Венские глаголические листы, глаголический отрывок Деяний апостольских и дал их описание. Но особенно важно его исследование рукописи Добромирова евангелия XII в. (1898). По его мнению, оригинал Добромирова евангелия находится в ближайшем родстве с Ассеманиевым, Зографским и Мариинским евангелиями. Остромирово евангелие указывает на восточноболгарский источник, в то время как Добромирово восходит к западному (македонскому) оригиналу. Восточные изводы легли в основу русских, западные — в основу сербских и хорватских евангелических текстов. Этот подход затем продолжили В. Облак, В. Вондрак и др.

В 1895 г. Ягич опубликовал статью «Глава из истории славянских языков», в которой пересмотрел вопрос о взаимоотношении болгарского, сербохорватского и словенского языков. Копитар и Миклошич полагали, что славяне, поселившиеся в VI в. на Балканском полуострове, представляли собой один народ и говорили на одном языке. Это этническое и языковое единство было нарушено в VII в. переселением сербов и хорватов, которые разъединили болгар и словенцев. По мнению Ягича, имена сербов и хорватов вначале не обозначали особой этнической и лингвистической единицы: словене даже в VI—VII вв. имели более или менее тесно сплоченную языковую группу, распадавшуюся на ряд близких говоров, при этом сербохорватский представлял собой связующее звено между болгарским и словенским. Ягич не признает и разделение сербохорватского на два самостоятельных языка.

Труд Ягича «История возникновения церковнославянского языка» (1900, 2-е изд. 1913) представляет собой выдающееся достижение в славянской филологии начала XX в., итог всего, что было сделано по кирилло-мефодиевской проблематике за предшествующие сто лет. Если уже до этого Ягич внес немалый вклад в издание и изучение старославянских памятников, неоднократно высказывался о сравнительной древности кириллицы и глаголицы, то вопроса о происхождении и родине старославянского языка касался лишь мимоходом. Рассмотрев историю вопроса, он подверг критике паннонскую теорию (Копитар, Миклошич) и выступил защитником македонско-болгарской гипотезы, которой придерживалось и большинство русских славистов. Важное значение для него имели, во-первых, более глубокое изучение старославянских памятников и тем самым выяснение древнейшего состояния церковнославянского языка, во-вторых, наблюдения над народными говорами Болгарии и Македонии.

Живя в Вене и сохраняя звание русского академика, Ягич поддерживал самые тесные связи с Петербургской АН. Эти связи особенно крепнут с 1900 г., когда Шахматов стал ординарным академиком. Ягич часто приезжал в Россию для участия в заседаниях АН, выступал с докладами, составлял программы коллективных исследований. В изданиях Петербургской АН он опубликовал, помимо уже названных трудов, статьи «Вновь найденное свидетельство о деятельности Константина Философа, первоучителя славян св. Кирилла» (1893), «Критические заметки по славянскому переводу двух апокрифических сказаний» (1898), «Размер (двонадцатислоговой) древнейших стихотворений поэтов славянских (сербохорватских) в Далмации» (1896), рецензии на труды В. В. Стасова, А. А. Кочубинского, П. А. Кулаковского, А. М. Лукьяпенко, Н. М. Каринского, А. А. Шахматова.

В апреле 1903 г. состоялся предварительный съезд русских филологов, на котором присутствовало 104 человека. Председательствовали на съезде старейшие слависты Ягич, Ламацкий и Пыпин. Во второй секции обсуждался вопрос о подготовке славянской энциклопедии, которая должна была подвести итоги исследований и поместить дальнейшие перспекти-

вы. В феврале 1905 г. ОРЯС утвердило план издания, состоявшего из трех разделов: лингвистического, литературоведческого и этнографического. Но Ягич предложил ограничиться пока филологической частью. Поэтому все издание было решено назвать «Энциклопедией славянской филологии» [6—8]. Всего в этой серии (1908—1929) вышло 8 выпусков (I—V и X—XII), в которых было опубликовано 12 работ. Сам Ягич напечатал 3 труда: «Историю славянской филологии» (1910), «Вопрос о рунах у славян» (1911) и «Глаголическое письмо» (1911).

К работе над «Историей славянской филологии» Ягич приступил в 1907 г. и закончил в 1910 г. [9]. Свое изложение он начинает со средневековья (отзывы историков о славянах, чешские и польские глоссы и глоссарии, рассуждения о церковнославянском языке, грамматики и словари этого языка, деятельность Ю. Крижанича, изучение славян в XVII—XVIII вв. на Западе и в славянских землях). Но славянская филология, по его мнению, в полном смысле этого слова сформировалась в конце XVIII в. Ягич подробно характеризует деятельность Добровского и его современников, Коцитара, Востокова, чешских романтиков, путешествия по славянским землям первых русских славистов, историю литературного возрождения у южных славян, взгляды московских славянофилов, научные труды Миклошича, новое поколение славистов в русских и австрийских университетах. В такой широте подхода Ягич не имел предшественников. Книга была встречена в ученом мире с большим одобрением. О ней восторженно отзывались А. А. Шахматов, М. Н. Сперанский, С. Ф. Ольденбург и многие другие. Этот капитальный труд остается незаменным и незаменимым до настоящего времени.

Сторонник «чистой» науки, Ягич старался держаться в стороне от политики и почти не касался связанных с нею идеологических и организационных моментов в истории науки. История славянской филологии свелась к изложению научной деятельности ее выдающихся представителей. Поэтому мы не найдем в ней истории научных идей, истории методов и направлений, характеристики отдельных периодов, деятельности университетов, академий, ученых обществ, журналов. Даже изложение биографий иногда определялось не значением ученого в истории науки, а объемом тех сведений, которыми располагал автор.

Ягич полагал, что объективно можно оценить деятельность только тех ученых, чье «земное поприще уже совершилось». Это привело к тому, что последний период в истории славяноведения оказался неполным.

В работе «Глаголическое письмо» Ягич дал критико-библиографический очерк истории изучения глаголицы, затем обзор сохранившихся памятников глаголического письма с древнейшей поры до XVIII в. Тем самым глаголическое письмо получило свою полную историю. Что касается его происхождения, то Ягич уже с 1884 г. выводил глаголицу из греческого минускульного письма и считал ее изобретателем Константина Философа.

5 августа 1923 г. Ягич скончался. В. М. Истрин, характеризуя его многогранную деятельность, справедливо отмечал: «И язык, и литература, и этнография, и народная поэзия — все это служило предметом его изучения. И издания памятников, и монографическая разработка крупных научных вопросов, и отдельные замечания, рассеянные во многих периодических изданиях, захватывали настолько широкую область славяноведения, что обозрение всей ученой деятельности Ягича затруднительно даже в общих чертах... К почитаемым доселе известным в славянской науке именам Добровского, Востокова, Шафарика, Срезневского, Миклошича история славянской науки с таким же правом присоединит и имя Ягича» [10].

Истекшие десятилетия подтвердили правомерность наличия фамилии Ягича в столь высоком славистическом ряду.

ЛИТЕРАТУРА

1. Орешков П. Ватрослав Ягич. Кратък очерк на живота и дейността му до сега. — Известия на Семинара по славянска филология, 1911, т. 3, с. 572.

2. *Овсянко-Куликовский Д. Н.* Воспоминания. Пг., 1923, с. 81.
3. *Бернштейн С. Б.* К истории языковедения в Одессе. Материалы для биографии В. Ягича.— Труды Одесского ун-та. Сборник филологического ф-та, т. I, 1940.
4. *Арбузова И. В. В.* Ягич в Одессе. (В. Ягич и В. И. Григорович).— В кн.: Славянская филология. Л., 1964.
5. Письма И. В. Ягича к русским ученым (1865—1886). М.— Л., 1963, с. 100.
6. *Арбузова И. В.* Ватрослав Ягич и русская славистическая наука (Из истории создания «Энциклопедии славянской филологии»).— Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1971.
7. *Арбузова И. В.* О первоначальном замысле «Энциклопедии славянской филологии».— Славянская филология, вып. II. Л., 1972.
8. *Пьяных М. Ф.* Из истории создания «Энциклопедии славянской филологии». Неизвестные письма В. Ягича к А. Н. Пышину.— Русский фольклор, вып. VIII. Народная поэзия славян. М.— Л., 1963.
9. *Арбузова И.* «История славянской филологии» И. В. Ягича.— Сборник за славистику. Т. 9. Нови Сад, 1975.
10. Известия ОРЯС, т. XXVIII, 1924, с. 336.



МУСІЕНКО С. Ф.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИСЬМА (ИЛИ НОВОЕ
О ЗОФЬЕ НАЛКОВСКОЙ)¹

Это было в 1925 г. Находившиеся в гродненской тюрьме политические узницы, минуя тюремную цензуру, тайно переправили «на волю» письмо. Оно не имело конкретного адресата и было сигналом бедствия, криком о помощи женщин, которым грозила медленная мучительная смерть.

«Выслушайте нас... — говорилось в письме. — Дóрог каждый час, так как речь идет о жизни людей. Гродненская тюрьма страшная... и самое худшее женское отделение. Это общий карцер... В карцер сажают на один, два, самое большее на три дня. Мы же заключены в карцер навсегда... так мучиться мы больше не в силах... обратитесь к прокурору, в прес-су, в сейм, в министерство юстиции, в Белорусский клуб² ... Врач признал нас всех больными. Вместе с нами сидят женщины-уголовницы с грудными детьми, которые пухнут, пухнут также некоторые из нас. Добейтесь, чтобы сюда прислали медицинскую комиссию. Если ничего не сможете сделать, соберите рабочих. Мы совсем без сил и доведены до предела отчаяния» [1, с. 273].

К сожалению, пока не удалось найти ни авторов «Письма», ни тех, кто вынес его из тюрьмы и сделал достоянием широкой гласности в Польше и на ее окраинных землях — Западной Белоруссии и Западной Украине. О жестоком режиме гродненской тюрьмы было известно и раньше, но никто не знал о существовании карцера — места пожизненного заключения как политических узниц, так и уголовниц с грудными детьми. Видимо, длительное пребывание в карцере кончалось смертью заключенных и это помогало тюремной администрации держать его существование в глубокой тайне. За проявление чрезмерной жестокости к заключенным власти были вынуждены отстранить от должности начальника гродненской тюрьмы. Его сменил Мечислав (?) Кобылецкий, одновременно заигрывавший с властями и с представителями Гродненского «Патроната»³ [2, с. 47], однако сохранивший штат свирепствующих надзирателей, укомплектованный предшественником, и прежние устои в тюрьме. Смена тюремного администратора произошла, видимо, в конце 1923 или в первые месяцы 1924 г., поскольку во время первого посещения тюрьмы 19 июля 1924 г. кураторами «Патроната» З. Налковской, С. Земаком, Ф. де Вирион их сопровождал уже освоившийся с должностью Кобылецкий [3, с. 125]. Начальник тюрьмы довольно искусно умел скрывать тюремный произвол, так как даже судебный исполнитель Земак не знал о том, что карцер служит местом длительного и, как следует из «Письма», пожизненного заклю-

¹ Статья основана на материалах, обнаруженных автором в Государственном архиве Гродненской области.

² Белорусский клуб — объединение, пропагандировавшее белорусскую культуру и борвшееся за открытие белорусских школ на Гроднинщине в условиях буржуазной Польши.

³ «Патронат» — общественно-политическая организация опеки над узниками.

чения. Кобылецкий приказал побелить здание тюрьмы, «привести в порядок» некоторые камеры, даже организовал тюремную школу (в ней также избивали учеников-заключенных), словом, создавал о себе мнение как о начальнике-либерале, гуманисте. Для улучшения условий в гродненской тюрьме многое сделали кураторы на средства «Патроната», но Кобылецкий об этом старался не упоминать.

«Письмо женщин» получило распространение во всех слоях общества, попало в департамент Министерства юстиции и прессу. Одной из первых на защиту женщин выступила Стефания Семполовская⁴, обратившись в Министерство юстиции с «Докладной запиской», к которой приложила копию их «Письма». Семполовская сообщала о том, что в гродненской тюрьме установлен жесточайший режим, заключенных избивают во время следствия при допросах и в самой тюрьме. Об этом ей рассказывали многие заключенные и «выполняющая кураторскую работу» З. Рыгер-Налковская [1, с. 113]. Семполовская в июле 1924 г. обращала внимание администрации гродненской тюрьмы, которую она посещала, на жестокое обращение с заключенными, но получила ответ, что ошиблась, так как «подобное могло происходить при старом начальнике» [1, с. 113].

«Письмо» и «Докладная записка» не только разрушали карьеру Кобылецкого, но обличали политику правительства и тюремный произвол в стране. Министерством юстиции в адрес начальника гродненской тюрьмы была выслана копия «Докладной записки» с предписанием «разобраться». Документ был без подписи, но по изложенным в нем фактам было очень легко установить, что его автором была Семполовская⁵. В 1924 г. она организовала Гродненское отделение «Патроната» (его возглавил местный судья Адольф Матусевич), встречалась и беседовала с З. Налковской и многими общественными деятелями Гродно, посещала тюрьму и обращалась с протестом к ее администрации. Местные власти были заинтересованы в том, чтобы доказать несостоятельность «Письма», объявить его фальшивкой, пасквилем «на всю тюремную систему в Польше» и привлечь к суду тех, кто выступал в защиту заключенных. В игру включился и муж З. Налковской — слепо преданный Пилсудскому начальник гродненской жандармерии, полковник Я. Гожеховский. Это можно предположить на основании дневниковых записей писательницы, в которых упоминается «психическое давление», оказываемое Гожеховским на окружающих, и его категорическое запрещение жене посещать тюрьму, его участие в готовящемся военном перевороте [3, с. 179, 180] и выполнением им «непонятного приказа» Пилсудского [3, с. 229], связанного с арестом «врагов» начальника государства генералов Загурского и Розвадовского. Уточнить записи Налковской помогают такие мемуары генерала Л. Бербецкого [4], под началом которого служил Гожеховский в Гродно, материалы следствия по делу Загурского [5], устные воспоминания сослуживца Налковской по Гродненскому «Патронату» С. Земака⁶ и комментарий к дневнику Налковской, составленный Г. Кирхнер [3, с. 125—204]. Поэтому имя Налковской фигурирует в полицейских деловых бумагах, составленных неожиданно осмелевшим начальником гродненской тюрьмы.

Обращают на себя внимание три документа, относящиеся лишь к одной июльской неделе 1925 г. и обнаруженные нами в Государственном архиве Гродненской области: 8 июля датируется письмо Кобылецкого к Налковской [1, с. 258], 13 июля — ее ответ начальнику тюрьмы [1,

⁴ Руководитель «Патроната», прогрессивная публицистка и общественная деятельница.

⁵ Многие обличительные материалы из найденной нами в архиве Гродненской области «Докладной записки» Семполовская включила в 1926 г. в «Открытое письмо» Пилсудскому и министру юстиции, где отмечала, что из общего числа политических узников $\frac{2}{3}$ составляют белорусские, украинские и литовские крестьяне. Лишь весной 1925 г. их было арестовано 3200 человек. Все прошли жестокие следствия, перенесли пытки и побои.

⁶ С. Земак в беседе с автором данной статьи в ноябре 1980 г. рассказал о политических разногласиях супругов, обратив внимание на грубость, солдафонство и жандармский склад ума Гожеховского.

с. 275] и его «Рапорт» в Министерство юстиции от 14 июля 1925 г. [1, с. 115]. Все три документа появились в результате необыкновенно быстрого распространения «Письма женщин» и связанного с ним спешного «Предписания» Министерства юстиции Кобылецкому. Обратиться с письмом к Налковской — жене шефа жандармерии, известной писательнице, славившейся демократическими убеждениями и курировавшей узников тюрьмы — Кобылецкий мог или с разрешения Гожеховского или по его наущению. Тем более, что в период перипетий с «Письмом женщин» Налковской не было в Гродно. Она находилась в Варшаве у больной матери. К этому времени относится дневниковая запись писательницы, свидетельствующая о ее крайнем отчаянии: «Вокруг меня буйно расцвела чужая жизнь, а мой самый близкий человек, чтобы я упала, грубыми сапогами оттаптывал мне пальцы, когда я, как утопающий, хваталась за соломинку... Я не хочу возвращаться туда (в Гродно), где все... толкает меня к смерти... где запрещается все доброе» [3, с. 189, 190].

Сломленную горем женщину легче было застать врасплох и усыпить ее бдительность, на это, видимо, и надеялся Кобылецкий, когда в своем письме обратился к Налковской с просьбой «защитить» его от «наветов» Семполовской и подтвердить его «невиновность». Он угодливо напоминал о своих беседах «с госпожой куратором» о проблемах тюрьмы и о положительных оценках его «скромной деятельности». В действительности Кобылецкий толкал Налковскую на предательство, чтобы с ее помощью привлечь Семполовскую к суду «за клевету» и якобы сфабрикованное ею «Письмо женщин».

Прекрасно понимая, что ее свидетельские показания будут использованы властями прежде всего для того, чтобы посадить Семполовскую в тюрьму и скомпрометировать движение в защиту заключенных, Налковская в своем ответном послании начальнику тюрьмы категорически отрицает факт беседы «не только с Семполовской, но и с кем-либо другим о побоях в гродненской тюрьме» [1, с. 275] и делает заявление только от своего имени, сообщая лишь о личных наблюдениях во время кураторской деятельности.

«Я говорила, — пишет она, — что много раз слышала от заключенных, в частности больных в госпитале, что их избивали на следствии. Кроме того, я сама видела в двух случаях следы побоев у поступивших в тюрьму новичков» [1, с. 275].

Есть в письме Налковской выразительный эпизод, свидетельствующий о жестоких порядках в тюрьме: она воспроизводит свою беседу с «одним из заключенных», которого надзиратель «толкал» к месту работы, невзирая на «освобождение врача». Поскольку побои были обычным явлением, а имя узника установить было невозможно, то писательница решила довести этот факт до сведения начальника; она писала еще и о голоде, антисанитарных условиях, отсутствии лекарств в тюрьме, отметив «старание Кобылецкого» исправить положение вещей. Ответ Налковской был составлен так, что в нем разоблачались произол и жестокость тюремных властей.

В отличие от подобострастного тона, в котором выдержано письмо Кобылецкого к Налковской, в «Рапорте» он выступает в роли разгневанного «гражданина отечества», которого незаслуженно обвинили, и в его лице оскорбили «всю тюремную систему в Польше» [1, с. 115]. «Рапорт» Кобылецкого содержал откровенную ложь, в нем были подтасованы факты и избобличающие его собственные противоречивые доводы. Кобылецкий заявляет, что «письмо женщин, заключенных в гродненской тюрьме... является чим-то вымыслом» [1, с. 115], но в то же время отмечает, что его «не удивляет содержание письма», являющегося «происком» политических узниц. Далее сам Кобылецкий подтверждает факты, изложенные в «Письме»: соглашаясь с тем, что в камерах сыро, он пишет: «...сырость вызвана плохой погодой и дождями». Возмущаясь жалобами женщин на болезни, он ссылается на заключения тюремного врача Кошелева и заведующего здравотделом Гродненского воеводства Алхимовича, которые якобы заявили, что «состояние здоровья узниц не ухудшилось, а улучшилось после

их перевода в другие камеры». Однако заключения медиков к «Рапорту» не приложены.

Зофья Налковская упоминается в «Рапорте» три раза (как Гожеховская). Кобылецкий изобразил ее чуть ли не своей союзницей и единомышленницей. На деле же он искажил смысл ее письма, истолковав его лишь с учетом собственных интересов. При пересказе содержания письма он исключил весь обличительный материал о тюрьме, представленный писательницей. А между тем, Налковская в дневнике, а позднее в рассказе «Женщины там» (1930) писала, что в тюрьме самыми страшными местами были больница и «женские камеры». Возможно, этот рассказ был навеян не только наблюдениями писательницы, но и «Письмом женщины».

«Воздух в этих помещениях, камерах матерей, был по-настоящему ужасный: густой, липкий, как слизь, и зловонный. Они не получали горячей воды... У них не было мыла для стирки пеленок и не было где это делать... Этажом выше была больничная камера. Здесь молоденькая женщина просила об освобождении на время родов... Две следующие койки, здесь же рядом, были заняты венерическими больными. На последней лежала туберкулезница... Около самой двери на своей койке сидела новая больная и держала... грудного ребенка» [6, с. 557, 558].

О том, что заключенных бьют, писательнице говорили как сами заключенные, так и работники тюрьмы и полиции. Доказательством может служить ее дневниковая запись, относящаяся к тому времени, когда начальником тюрьмы был уже Кобылецкий: «Перед тем, как идти в тюрьму, я познакомилась с здешним комендантом полиции (Мацевским) и спросила, бьют ли арестантов в комиссариатах... Он объяснил, что бьют... со знанием дела: ребром ладони около уха, чтобы остановить приток крови, и тогда задается вопрос». И еще: «Заключенный должен бояться, должен дрожать от страха, когда я на него смотрю» [3, с. 138].

Противоречит истине и утверждение Кобылецкого, что «согласно предположению госпожи Гожеховской, автором письма в Министерство может быть только Семполовская, представительница русского Красного креста», которая якобы беседовала с писательницей «о тюрьме и отношениях в полиции». Это предположение, как утверждает начальник тюрьмы, Налковская высказала в разговоре с ним. А несколькими строчками выше он пишет: «Госпожа Гожеховская категорически отрицает, что она кому-либо говорила о побоях в гродненской тюрьме». Доверительный разговор начальника тюрьмы, о котором он упоминает в «Рапорте», был довольно смелой ложью, поскольку подобного рода документы сохранялись в тайне. Кроме того, ни в письме Налковской, ни в ее дневниках, ни в воспоминаниях современников и сослуживцев писательницы по «Патронату» в Гродно никаких подтверждений этого факта нет и быть не могло.

Обратим внимание на заключительные строчки «Рапорта» Кобылецкого, в которых он потребовал привлечь к суду редактора еженедельника «Walka» Т. Веняву-Длугошовского за публикацию статьи «Женщины пухнут в тюрьме». Автор статьи заявил: «Надо предъявить иск следствию, чтобы приговоры, выносимые судами, не отягощались скотами, засевшими в креслах начальников тюрем» [7].

Документы архива гродненской тюрьмы, являясь бесспорным свидетельством жестокой политики по отношению к заключенным в буржуазной Польше, позволяют говорить и о развернувшихся уже в 20-е годы протесте и борьбе против полицейского режима широких народных масс и прогрессивной интеллигенции, о создании общественно-политических организаций: Красного креста, «Патроната», Белорусского клуба и других, поддерживавших эту борьбу, и об участии в ней З. Налковской, проживавшей с 1922 по 1927 гг. в Гродно. Будучи куратором «Патроната», писательница изучила бесчеловечный уклад тюремной жизни, наблюдала страдания белорусов, населяющих принеманские земли, бывшие в тот период «восточными окраинами» Польши. В Гродно и о Гродно Налковская написала свои лучшие произведения, в которых воспела красоту этого края и показала социальные и национальные трагедии народа, значение гродненского периода подчеркивала сама Налковская.

«Все виденное сквозь призму тюрьмы,— писала она,— не является только тюрьмой. Это скорее то, что удалось увидеть вокруг. А в целом — это воспоминание о Гродно» [8].

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственный архив Гродненской области, ф. 55, оп. 1, д. 55.
2. *Мусяенко С. Ф.* Гродненский период в творчестве Зofьи Паялковской. — Советское славяноведение, 1984, № 1.
3. *Nałkowska Z.* Dzienniki 1918—1929. Warszawa, 1980.
4. *Pamiętniki generała broni Leona Berbeckiego.* Katowice, 1959.
5. *Cieślakowski Z.* Tajemnica śledztwa KO—1042/27. Sprawa generała Zagórskiego Warszawa, 1976.
6. *Nałkowska Z.* Pisma wybrane. Warszawa, 1956.
7. *Walka*, 1925, № 29.
8. *Świat Kobiet*, 1927, 15 VI.



НОВЫЕ КНИГИ О СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЯХ

Понятие новизны в научной литературе, посвященной славянскому рукописному наследию, вряд ли можно ограничивать изданиями двух-трех последних лет, поскольку на протяжении столь короткого времени не могут проявиться основные тенденции в изучении и издании материала. По этой причине мы охватываем в обзоре книги, вышедшие из печати на протяжении последних десяти лет, тем более, что общее их количество невелико.

В первую очередь следует отметить факсимильные издания. Среди них подготовленное болгарскими исследовательницами В. Ивановой-Мавродиновой и А. Джуровой воспроизведение глаголического Ассеманиева евангелия — одной из самых ранних славянских рукописей, являющейся исключительным по своему значению памятником письма и книжного искусства [1]. Издание сопровождается исследованием (с резюме на четырех языках), в котором впервые классифицированы элементы декора [2]. Конечно, эта работа не исчерпывает все вопросы, выдвигаемые иллюминацией кодекса, но издание памятника в цвете должно способствовать его дальнейшему изучению. Вероятно, по такому же образцу следовало бы осуществить репродукционное издание Зографского евангелия (Ленинград, ГПБ) и Мариинского евангелия (Москва, ГБЛ). Поскольку иллюминация этих кодексов скромнее, можно было бы ограничиться черно-белой съемкой, выделив цветными репродукциями отдельные листы, как это было сделано при издании Болонской псалтири [3]. В 1983 г. в Софии было осуществлено также факсимильное издание одного из важнейших памятников кириллического письма XI в. — Енинского апостола [4], обнаруженного в 1960 г. и изданного пять лет спустя [5].

В нашей стране в 1983 г. осуществлено факсимильное издание Изборника Святослава 1073 г. [6], после реставрации рукописи, сопровождавшейся освобождением ее листов от загрязнений и исследованием пигментов современными физико-химическими методами [7, с. 101—102]. Следует отметить высокий полиграфический уровень воспроизведения, максимально приближенного к оригиналу. В приложении помещены несколько статей, освещающих ценность Изборника Святослава 1073 г. как памятника культуры; одна из них, написанная И. В. Левочкиным, дана также в переводах на английский и немецкий языки [8, с. 9—30]. Художественное оформление рассмотрено в статье В. Д. Лихачевой, показавшей связь декора с византийской художественной традицией [8, с. 68—74]. К сожалению, в книге не нашлось места для полной библиографии, которая замещена выборочным библиографическим списком литературы [8, с. 75—79]. Статьи существенно дополняют материалы сборника, выпущенного в 1977 г. [9]. По такому же принципу и на таком же уровне пора издать Остромирово евангелие (Ленинград, ГПБ) и Мстиславово евангелие (Москва, ГИМ), занимающие наряду с Изборником Святослава 1073 г. исключительно большое место в культурном наследии Киевской Руси.

Издание некоторых памятников кириллического письма осуществлено в технике фоторепродукции. Это Бычковская псалтирь, древнерусского

происхождения XI в., основная часть которой находится в монастыре св. Екатерины на Синае, а 9 листов — в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде [10]. Издатели присоединили к указанной рукописи часть другой (из библиотеки Гарвардского университета), датированной ими серединой XII в.; по нашему мнению, это русская книга XIV в. Подобным образом издана и обнаруженная в названном синайском монастыре сербская Псалтирь начала XIII в. [11]. Значение этого памятника и качество издания уже были по достоинству оценены Н. И. Толстым [12]. Издатели Супрасльской рукописи [13] проводили фотоснимки наборным кириллическим текстом и параллельно греческому (введение и комментарии И. Заимова, подбор и комментарии греческого текста М. Капальдо). К изданию приложен указатель литературы. Снимки в натуральную величину, хорошего качества; остается лишь пожалеть о том, что листы не отсняты целиком, с краями, что сделало бы издание пригодным и для исследователей славянского книжного искусства. Мстиславово евангелие издано наборным кириллическим шрифтом, с обстоятельной вступительной статьей и с небольшим количеством снимков; в конце книги помещены указатели [14]. Благодаря этой публикации памятник сделается доступным для изучения филологами в значительно большей мере, чем прежде.

Некоторые факсимильные издания, подготовленные к печати искусствоведами, стремятся прежде всего передать художественные достоинства рукописи, роскошно иллюминированной и занимающей исключительное место в культурном наследии определенной эпохи. Именно так издана Киевская псалтирь 1397 г. в полном объеме, что делает ее ценной и для историков языка [15]. К воспроизведению памятника приложен большой том исследования Г. И. Вздорнова, которое вполне могло быть осуществлено как самостоятельное издание, независимое от дорогостоящего издания рукописи [16]. По крайней мере трудно признать необходимость сопровождения факсимильного тома экскурсами, создающими «фон» для Киевской псалтири. Ныне покойная болгарская исследовательница Л. Живкова выбрала более гибкую форму при опубликовании Четвероевангелия царя Ивана Александра: с мелкими черно-белыми репродукциями всего текста и с цветными воспроизведениями листов, украшенных миниатюрами [17]. Сопровождающие альбомную часть статьи раскрывают историческое и художественное значение рукописи, выполненной в 1356 г. (см. [18, с. 81—82]). К этому же типу изданий примыкает книга, содержащая факсимильное воспроизведение цикла миниатюр, иллюстрирующих события, связанные с Куликовской битвой [19]. Альбомная часть сопровождается статьями Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева; текст подготовлен к печати и переведен на русский язык О. П. Лихачевой; составитель М. В. Кукушкина. Текст и статьи даны и в переводе на английский язык. Это особая форма частичного издания рукописи, исходя из определенной тематики, приуроченная к юбилею большого исторического события.

Задача создания сводного каталога хранящихся в СССР славяно-русских рукописей, выполнение которой взяла на себя Археографическая комиссия Академии наук СССР, была поставлена еще в 1960 г. Была выработана инструкция по описанию, выпущены методические пособия и методические рекомендации, что заранее определило структуру свода. Результатом многолетней подготовительной работы стало издание, содержащее описание 494 книг и фрагментов XI—XIII вв. [20], ценное и практически необходимое, но при пользовании им возникают некоторые неудобства. Орывки, даже отождествленные, описаны отдельно от основной части той или иной рукописи. В библиографии иногда литература отобрана без должной последовательности: учтены упоминания и игнорированы специальные статьи, посвященные определенным рукописям. В приложении очень мало иллюстративного материала (всего 16 таблиц с «выстриженными» снимками, воспроизводящими по несколько строк из датированных рукописей). К сожалению, книга напечатана на рыхлой, некачественной бумаге, тогда как такой справочник должен быть рассчитан на длительное и притом активное использование. Не лишним было бы

переиздать этот быстро разошедшийся каталог, выпущенный весьма ограниченным тиражом (3000), с необходимыми дополнениями и исправлениями.

В ходе работы над созданием сводного каталога славянских рукописей в Югославии Археографическое отделение Народной библиотеки Сербии с 1979 г. выпускает «Археографски прилози», кроме того, Сербская Академия наук и искусств издала составленный Д. Богдановичем инвентарный указатель кириллических рукописей XI—XVII вв. в Югославии [24]. Справочник благодаря продуманной структуре очень удобен для пользования, в нем сгруппированы рукописи в зависимости от их содержания, он снабжен тщательно составленными индексами.

Заметно активизировалось описание рукописей отдельных собраний. В частности, в 1981 г. вышло несколько книг, из которых следует отметить каталог славяно-русских рукописей XV—XVI вв., поступивших в 1964—1978 гг. в библиотеку МГУ [22] и каталог кириллических рукописей в собрании М. П. Погодина, хранящемся в Государственном Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде [23]. Обе книги тщательно составлены, хорошо иллюстрированы и снабжены содержательными предисловиями.

Сейчас уже охвачена научными описаниями, изданными на высоком полиграфическом уровне, часть славянских рукописей, принадлежащих монастырям на Афоне. Фессалоникский славист профессор А.-Э. Н. Тахиаос описал 74 рукописи в русском монастыре св. Пантелеймона [24]. Это часть более обширного монастырского собрания, в котором совершенно отсутствуют ранние рукописные книги древнерусского происхождения; встречаются лишь южнославянские с XIII в., а преобладают более поздние. В предисловии изложены сведения о формировании коллекции и ее изучении. Описание сопровождается великолепными воспроизведениями листов многих рукописей. Не входя в оценку предлагаемых датировок, надо сказать, что выход из печати этой книги явился очень отрадным явлением, и последующие изыскания не должны умалять заслуги греческого ученого, осуществившего упомянутый труд. На сегодняшний день каталогизированы кириллические рукописи, хранящиеся в сербском монастыре Хиландарь на Афоне, что является большой научной заслугой белградского профессора Д. Богдановича. Изданный каталог охватывает 815 рукописных книг XIII—XIX вв. К тому, содержащему описание, приложен большой палеографический альбом, имеющий 250 репродукций [25; 26]. Среди кириллических рукописей в Хиландаре находятся древнерусский Стихирарь с неизменной нотацией конца XII в. (№ 307) и нотный Ирмологийон киевского происхождения начала XIII в. (№ 308). Многие кодексы иллюминированы и отражают различные художественные стили, распространенные на Балканах и в средневековой Руси.

Увидел свет и первый том описания славянских рукописей библиотеки монастыря Зограф, составленного болгарскими учеными при сотрудничестве с греческими [27]. Как и в книге Д. Богдановича, во вступлении освещено прошлое монастыря и его книгохранилища, привлекавшего внимание многих исследователей. Описаны рукописи Псалтири, Евангелия и Апостола XIII—XVII вв. (всего 59). В конце помещено резюме на греческом и английском языках. Иллюстративная часть книги включает 144 таблицы, из которых 32 воспроизводят листы рукописей в цвете. Среди сокровищ Зографа — Радомирова псалтирь последней четверти XIII в. (№ 1).

Как можно видеть, исследователи в характере издаваемых описаний проявляют неодинаковый подход к рукописной книге, от довольно суммарного до весьма детального, хотя и здесь еще далеко до той широты и разносторонности охвата памятников книжного искусства, какой продемонстрирован в Каталоге иллюминированных византийских рукописей Национальной библиотеки в Афинах [28]. Для славянского материала (в том числе и хранящегося в монастырях Афона) это остается делом будущего.

Опыт освещения тысячелетнего пути, пройденного искусством художественного оформления рукописной книги в Болгарии, представляет книга А. Джуровой, вышедшая с предисловием акад. Ив. Дуйчева [29]. Текст занимает сравнительно небольшую часть объема издания, содержащего 317 цветных и черно-белых репродукций и 1186 графических прорисовок инициалов глаголических и кириллических рукописей. В целом собран и систематизирован огромный материал, требующий осмысления. Общая схема, возникающая при сопоставлении элементов художественного убранства книги, весьма сложная, требующая расчленения. Открытым остается вопрос и о правомерности отдельных датировок. К сожалению, далеко не все привлекаемые памятники книгописания имеют устойчивые датировки (вопроса локализации не касаемся здесь вообще). Поэтому остается выдвинуть на первое место общую эволюцию художественных форм, допуская случаи живучести архаических моделей. Попутно заметим, что Реймское евангелие, из которого приведен инициал (№ 292), датируется не XII в., а не позднее 1040-х годов (продукция киевского княжеского скриптория).

Иной по характеру является книга сербской исследовательницы И. Максимович о средневековых иллюминированных рукописях южнославянского происхождения [30]. Здесь, как мы уже отмечали [31, с. 110—112], в обширном введении миниатора рассматривается как показатель художественных достижений мастеров. Автор прослеживает истоки сербского книжного искусства, его расцвет, региональные особенности. Вторая часть книги содержит описание всех выявленных иллюминированных кодексов XII—XV вв., в том числе из Зеты, Хума и Боснии, сопровождаемое исчерпывающей библиографией.

Если не считать альбома, посвященного русской миниатюре XI—XV вв., со статьей О. С. Поповой [32], то исследователи книжного искусства средневековой Руси уделяли внимание преимущественно продукции определенных регионов. Широкий круг вопросов, выдвигаемых иллюминацией новгородско-псковских рукописей XII—XV вв., рассматривает Т. В. Ильина [33]. В большой книге Г. И. Вздорнова подвергнуто тщательному анализу с позиций историка искусства рукописное наследие Северо-Восточной Руси XII — начала XV вв. [34]. Особо ценно описание рукописей, иллюстрированное и сопровождаемое подробнейшей библиографией, составленной с редкой полнотой.

Наряду со специальными книгами о славянских рукописях следует упомянуть также исследование В. Йончева, показывающее место средневековой книги восточных и южных славян в мировой культуре [35].

Из поистине безбрежного моря художественных украшений древнерусской книги И. В. Левочкин отобрал и издал 100 наиболее характерных для XI—XVI вв. инициалов, сопроводив их статьей, в которой прослежена эволюция их основных форм [36]. Все инициалы воспроизведены в этом миниатюрном издании в цвете, в натуральную величину.

Проблемам социологии книжной культуры Древней Руси посвящена книга Б. В. Сапунова, рассматривающего славяно-русские рукописи XI—XIII вв. в несколько не традиционном аспекте [37]. Широкий круг вопросов, связанных с выполнением и распространением рукописной книги XV в. обсуждается в исследовании Н. Н. Розова [38]. Одна из глав посвящена художественному оформлению и иллюстрированию. Болгарский ученый К. М. Куев написал очень интересную книгу о судьбе славянских рукописей в Болгарии и за ее пределами, а также об изучении рукописного наследия [39]. Не был забыт и юный читатель: ему адресована увлекательная книга Кл. Ивановой, по своему содержанию перекликающаяся с предыдущей, изящно оформленная, щедро иллюстрированная [40].

Наконец, следует отметить указатель рукописных собраний Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, в Отделе рукописей которой хранятся многие сокровища книжной культуры славян [41].

Предлагаемый обзор литературы о славянских рукописях не охватывает весьма многочисленные специальные статьи, рассеянные по научным журналам и сборникам. Но и указанных книг достаточно, чтобы по ним

определить общую направленность работ, проводимых археографами и искусствоведами, систематически изучающими культурное наследие славян.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асеманиево евангелие. Факсимильно издание. София, 1981.
2. *Иванова-Мауродинова В., Джурова А.* Асеманиево евангелие. Старобългарски глаголически паметник от X век. Художественоисторическо проучване. София, 1981.
3. Боловски псалтир. Български книжовен паметник от XIII век. Фототипно издание с увод и белешки от Дуйчев И. София, 1968.
4. Енински апостол. Факсимильно издание с предговор от Кодов Хр. София, 1983.
5. *Мирчев К., Кодов Хр.* Енински апостол. Старобългарски паметник от XI век. София, 1965.
6. Изборник Святослава 1073 года. Факсимильное издание. М., 1983.
7. Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 3. М., 1983.
8. Изборник Святослава 1073 года. Научный аппарат факсимильного издания. М., 1983.
9. Изборник Святослава 1073 г. Сб. статей. М., 1977.
10. An early Slavonic Psalter from Rus', v. I. Photoreproduction. Ed. by M. Altbauer with the collaboration of H. G. Lunt Cambridge, Mass., 1978.
11. *Altbauer M.* Der älteste serbische Psalter. Köln — Wien, 1979.
12. *Толстой Н. И.* Ценное издание древнесербской псалтири. — Советское славяноведение, 1985, № 1.
13. Супрасьльски или Ретков сборник. В два тома. София, 1982.
14. Апракос Мстислава Великого. Под ред. Л. П. Жуковской. М., 1983.
15. Киевская псалтирь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. М., 1978.
16. *Вздорнов Г.* Исследование о Киевской псалтири. М., 1978.
17. *Живкова Л.* Четвероэвангелие царя Ивана Александра. София, 1980.
18. *Луцко В. Г.* Перлина слов'янського мистецтва. — Народна творчість та етнографія, 1983, № 4(182).
19. Повесть о Куликовской битве. Текст и миниатюры лицевого свода XVI века. Л., 1984.
20. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. М., 1984.
21. *Богдановић Д.* Инвентар ћирилских рукописа у југославији (XI—XVII века). Београд, 1982.
22. *Кобяк Н. А., Поздеева И. В.* Славяно-русские рукописи XV—XVI веков Научной библиотеки Московского университета. М., 1981.
23. *Иванова Кл.* Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин. София, 1981.
24. *Tachlaos A.-E. N.* The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rosikon) on Mount Athos. Thessaloniki — Los Angeles, 1981.
25. *Богдановић Д.* Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара; *Медиковић Д.* Старе штампане књиге манастира Хиландара. Београд, 1978.
26. *Богдановић Д.* Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Палеографски албум. Београд, 1978.
27. *Кодов Хр., Райков Б., Кожуларов С.* Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. Със сътрудничество на Ангелопулос Ат. и Каратанасис Ат. София, 1985.
28. *Marava-Chatzinicolaou A., Toufexi-Paschou Chr.* Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece, V. 1—II. Athens, 1978—1986.
29. *Джурова А.* 1000 години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. София, 1981.
30. *Максимовић Ј.* Српске средњовековне минијатуре. Београд, 1983.
31. *Луцко В. Г.* Јованка Максимовић. Српске средњовековне минијатуре. — Советское славяноведение, 1985, № 2.
32. *Ророва О.* Les miniatures russes du XIe au XVe siècle. Leningrad, 1975.
33. *Ильина Т. В.* Декоративное оформление древнерусских книг. Новгород и Псков. XII—XV вв. Л., 1978.
34. *Вздорнов Г. И.* Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV веков. М., 1980.
35. *Йончев В.* Книгата през вековете. София, 1976.
36. *Левочкин И. В.* Инициалы XI—XVI веков (Искусство книги Древней Руси). М., 1983.
37. *Сапунов Б. В.* Книга в России в XI—XIII вв. Под ред. С. П. Лушова Л., 1978.
38. *Розов Н. Н.* Книга в России в XV веке. Л., 1981.
39. *Кувев К. М.* Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София, 1979.
40. *Иванова Кл.* В началото бе книгата. Разказ за старобългарската книга и нейната съдба. София, 1983.
41. Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Указатель, т. I, вып. 1. М., 1983.



ШУМИЛОВ А. А.

ЕЩЕ РАЗ О ТЕРМИНЕ «СЕРБСКИЙ ХОРЕЙ»

У истоков истории русских переводов сербского эпоса ¹ лежат работы выдающегося филолога А. Х. Востокова. Он перевел девять песен из собрания Вука Караджича и большую часть их опубликовал в альманахе «Северные цветы» за 1825—1827 гг. (песня «Марко Краlevич в темнице» была напечатана в «Трудах Вольного общества любителей российской словесности» в 1825 г.).

Стихотворный размер, которым пользовался ученый при переводе этих песен, уже давно привлекает внимание исследователей русского стиха ². Сам Востоков называл его русским народным стихом и теоретически обосновал несколько ранее [2].

Опыты основателя русской славистики уже сами по себе достаточно интересны, так как это были первые русские поэтические переводы сербского эпоса, привлекавшего своими достоинствами несколько поколений поэтов и переводчиков. Но существует еще одно обстоятельство, которое не укрылось от внимания некоторых стиховедов: имеется определенная связь между стихом, которым пользовался Востоков, стихом «Песен западных славян» Пушкина и десятисложником сербских эпических песен, так называемым «десетерцем» [3]. Эта связь непрямая, трудноопределимая, которая скорее чувствуется, чем доказывается.

Стих Востокова, как убедительно показал М. Л. Гаспаров в упомянутой работе, неоднороден, но распадается на четыре типа, разница в ритмическом звучании которых весьма существенна. Сравним начало песни «Марко Краlevич в темнице»:

На всем тебе хвала, милый боже!
Каков бывал удалых вождь Марко!
И каков он теперь во темнице,
Во темнице Азацкой, в проклятой!

с началом «Хасанагиницы»:

Что белеется у роуци у зеленыя?
Снег ли то или белые лебеди?
Кабы снег, он скоро растаял бы;
Кабы лебеди были, улетели бы прочь.

В отличие от востоковского стиха, стих «Песен западных славян» более регулярен. Его исходная метрическая схема по Томашевскому — пятностопный хорей, другие исследователи возводили его к трехстопному анапесту [4]. Но так или иначе, его заметными приметами являются те же, что

¹ Под привычным, хотя и не вполне точным термином «сербский эпос» мы подразумеваем эпические песни сербов, хорватов, черногорцев и некоторых других народов, населяющих современную Югославию.

² Подробное описание этого стиха дано в [1].

присущи и стиху Востокова — тяготение к десятисложности и перебои ритма.

В. М. Жирмунский, признавая влияние постокровского стиха на стих «Песен западных славян», не соглашался с мнением Томашевского об их общем источнике: «Было высказано мнение..., что Пушкин исходит в своих метрических опытах из пятистопного хорea сербских песен, который и является будто бы метрической схемой этих стихотворений. Однако подвести приведенные отрывки (из „Песен западных славян“. — А. III.) под схему хорea можно, только допуская всевозможные отступления от схемы, в том числе и в счете слогов, — между тем система трех ударений, несмотря на дополнительные отягчения метрически неударных слогов (которые встречаются довольно часто даже в дольниках), проходит через все „Песни“ без каких-либо отклонений. Наконец, опровергается эта теория и в отношении генезиса стиха пушкинских „Песен“. Пушкин, вероятно, воспроизводит не столько непосредственно впечатление от размера сербских песен, сколько следует в своих подражаниях примеру и авторитету Востокова...» [5].

Сербский десятисложник, «десетерец», имеет выраженную хорейскую тенденцию, но перебои ритма являются, на русский слух, его ярчайшей характеристикой, так что называть стих сербского эпоса пятистопным хореем можно лишь условно, четко представляя себе его действительное звучание. Тем не менее, еще в 1825 г. в примечаниях к переводу «Свадебного поезда» Востоков определяет размер подлинников как «хорейский пятистопный с пресечением на второй стопе». Если сравнить это высказывание с иной характеристикой десетерца, данной Востоковым ранее, согласно которой сербские народные песни «...кажется, имеют стихосложение тоническое» [2, с. 69], становится видным противоречие, существовавшее во взглядах Востокова на природу сербского десятисложника.

Это противоречие не осталось незамеченным, на него указывали в свое время Б. И. Ярхо [6] и М. Л. Гаспаров [1]. Дать объяснение этому странному обстоятельству можно, если обратиться к истории издания сербских народных песен.

В первом издании, которое начало выходить в Вене с 1814 г., собиратель сербского эпоса Вук Караджич ничего не говорил о стихе. Востоков в 1817 г., упомянув о тонической природе стихосложения сербских народных песен, передает свое, во многом справедливое, ощущение от десетерца как от стиха со свободно расположенными ударениями. Назвать его силлабическим ему, вероятно, не позволило знание о просодии языка, в котором ударение не закреплено на постоянном месте в слове (как в польском, французском), не падает преимущественно на один какой-нибудь слог (как в испанском), но свободно. Одной из просодических особенностей сербохорватского языка является то, что и нем закреплено неударение, если можно так выразиться, т. е. ударение в двух- и многосложных словах никогда не может падать на последний слог (по крайней мере, так дело обстоит в диалектах, на которых снагался сербский эпос и которые позднее легли в основу литературного языка). Воспринимаемая русским слухом хорейская тенденция стиха, видно, также не позволила Востокову назвать этот размер строго силлабическим.

Впервые о стихотворном размере народных сербских песен Вук Караджич упоминает в лейпцигском издании эпоса в 1824 г. Он пишет: «Все наши юнацкие песни состоят из десяти слогов или пяти хорейских стоп с пресечением на второй стопе... Например:

Подйжѣ сѣ / Црнѡјевѣи Ѣвѡ

Правда, во многих стихах при произношении долгий слог стоит на месте краткого и краткий на месте долгого, например:

Ӣ пѡнѣсѣ / трѣ тѡвѡрѡ блѡгѡ
Јѡ кѡд тѡкѡ / свѡдбѡ ѳрѣдѣшѣ

Так говорится, так читается и произносится, но когда поется, тогда везде хорей:

Ӣ по̄нёсѣ / трѣ то̄варѣ блага̄
Ја̄ ка̄д та̄ко / сва̄дбӯ ӯрёдишьѣ» [7].

Мы видим, что мнение Караджича о размере юнацкого стиха как размере правильного хорей сложилось как под влиянием правил классической метрики, так и под влиянием ритма музыкального сопровождения песен. Авторитет собирателя фольклора и выдающегося ученого был настолько велик, что во взглядах Востокова 1825 г. явственно прослеживается мнение Вука.

Интересно, что высказывание Востокова в 1825 г. о десетерце не повлияло на его работу над переводами. Определение десетерца как пятистопного хорей лишь косвенно, позднее, оказало, по всей видимости, влияние на русские переводы сербского эпоса. С середины XIX в. укоренилось мнение о том, что русский пятистопный хорей есть точный ритмический эквивалент размера сербских народных песен, и это мнение столетие господствовало в переводческой практике. Лишь с середины XX в. делаются попытки найти иной, ритмически более богатый эквивалент стиху сербского эпоса.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гаспаров М. Л.* Народный стих Востокова.— В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971, с. 437—443.
2. *Востоков А.* Опыт о русском стихосложении. СПб., 1817.
3. *Томашевский Б.* О стихе. Л., 1928, с. 63—66, 78—83.
4. *Бобров С.* К вопросу о подлинном стихотворном размере пушкинских «Песен западных славян».— Русская литература, 1964, № 3, с. 119—137.
5. *Жирмунский В.* Теория стиха. Л., 1975, с. 225—226.
6. *Ярго Б. И.* Свободные звуковые формы у Пушкина.— В кн.: «Ars poetica», вып. 2. М., 1928, с. 169—181.
7. *Караџић Вук Стеф.* О српској народној поезији. Београд, 1964, с. 108.



МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Любые пожелания журналу должны исходить из его объема и заданной периодичности. При настоящем объеме и периодичности можно считать, что в целом профиль журнала «Советское славяноведение» сложился, хотя любой языковед и ощущает здесь некоторый перевес в сторону истории.

При настоящем объеме и относительно междисциплинарном профиле следует как раз очень осторожно подходить к выбору тем и организации дискуссий. Журнал — не газета, да и не всякая дискуссия, как это показывает, например, дискуссия о названии древнеписьменного языка славян, может быть полезной по идее, и, главное, по результатам. Примером подлинно научных и продуманных дискуссий могут служить обсуждения, проводимые в последние годы журналом «Советская этнография».

Желательно, чтобы как и в любом серьезном славистическом журнале в «Советском славяноведении» находили бы отражение прежде всего классические проблемы общеславянского звучания, такие как славянский этногенез и глоттогенез, история славянской письменности, славянская историческая диалектология, сравнительно-историческая грамматика и лексикология, церковнославянский язык. И здесь равно важны и публикация новых материалов и поиск новых методов и подходов к решению старых проблем.

*Герд А. С., д-р филол. наук,
профессор Ленинградского университета*

Коллектив кафедры славянской филологии полагает, что в целях дальнейшего повышения научного уровня журнала «Советское славяноведение» могли бы быть учтены следующие соображения.

1. В журнале явно превалируют публикации по исторической тематике. Это отражает структуру Института славяноведения и балканистики АН СССР, но не совсем точно отражает структуру славистических исследований, проводимых в нашей стране. Явно недостаточно представлены исследования в области славянского языкознания и литературоведения. Не всегда учитываются интересы университетской науки (между тем, в настоящее время в 65 вузах СССР читается «Введение в славянскую филологию», зарубежные славянские языки и литературы преподают более 300 преподавателей; кроме того, многие филологи-русисты занимаются сопоставительными исследованиями в области русской и славянской филологии).

2. По-видимому, надо найти какую-то форму ознакомления научной общественности со спорными вопросами славяноведения (по которым имеются расхождения между некоторыми учеными социалистических стран). Если журнал по каким-либо причинам вынужден избегать публикаций статей на эту тему, может быть, следовало бы печатать обзоры литературы по этим проблемам, чтобы читатель имел возможность ознакомиться с различными точками зрения по проблемам, не имеющим на сегодняшний день однозначного решения.

3. Рубрика «История славяноведения» должна быть постоянной ввиду ее важности не только для историографии, но и для теории нашей на-

уки и для раскрытия подлинного вклада отечественных ученых в мировую славистику.

4. Название рубрики «Люди, события, факты» представляется не совсем удобным. Оно больше подходит для газеты. Может быть, лучше назвать ее «Краткие сообщения».

5. Было бы целесообразно ввести постоянную рубрику «В славистических центрах СССР», где бы систематически печаталась хроника научных событий в советской славистике. (Сейчас, такие материалы печатаются, но от случая к случаю.) Может быть, для освещения научной жизни в различных центрах журнал организовал бы сеть своих корреспондентов.

6. Представляется целесообразным ввести какое-то плановое начало в систему рецензирования (в том числе, работ иностранных авторов). Создается впечатление, что сейчас публикация рецензий определяется тем, какие рецензии предложены редакции. Иногда важные, проблемные работы из поля зрения журнала выпадают. В некоторых журналах есть специальные сотрудники, которые отвечают за рецензирование, следят за новейшей литературой и на важные издания заказывают рецензии.

7. В целях координации научных исследований журнал в специальной рубрике (см. п. 5) мог бы подробнее знакомить научную общественность с планами отделов Института славяноведения и балканистики АН СССР (и других славистических институтов). Было бы целесообразно раз в год печатать списки тем диссертационных работ по славистике, которые уже утверждены учеными советами в нашей стране (чтобы избежать возможного дублирования и вовремя заметить недостатки планирования научных исследований).

8. Несомненным достоинством журнала является то, что он имеет возможность исследовать и освещать славистическую проблематику комплексно, с точки зрения различных наук и осуществлять координаторскую функцию в развитии славистических исследований. Однако осуществлять эти задачи в полной мере мешает малый объем журнала. Увеличение объема даст возможность расширить проблематику, круг авторов. Сегодня же получается, что самая большая славянская страна имеет самый тоненький славистический журнал.

*Дмитриев П. А., проф., зав. кафедрой
славянской филологии Ленинградского университета*

Нельзя не приветствовать появление новой рубрики «Мнение читателя!» Тем более, что читатели журнала «Советское славяноведение» не пассивные созерцатели того, что делается в отечественной славистике. Важность такой рубрики несомненна. Она позволит выявить общественное мнение читателей, изучать «спрос» и «предложение» в нашей науке. Хотелось бы высказать следующие соображения.

Сегодня в условиях гласности и перестройки значительно возрос интерес к истории вообще. И это не случайно. Хотелось бы видеть наш журнал лидером мирового славяноведения. Есть настоятельная необходимость увеличить объем и периодичность журнала до 12 номеров в год. Это даст возможность печатать работы советских и зарубежных коллег.

Думаю, что одним из актуальнейших является вопрос об условиях развития славяноведения в нашей стране. В этом направлении сделано немало, но на страницах журнала необходимо обсудить эту проблему. Как развивалась и развивается материальная база нашей науки, организация научной работы славистов в масштабах страны? Какие проблемы стоят здесь и что надо сделать, чтобы их ликвидировать? Как идет перестройка славяноведческой науки? А ведь это не просто научный вопрос. Нельзя не согласиться с мнением акад. П. Л. Капицы, который в свое время писал, что в соревновании капитализма и социализма победит тот общественный строй, который создаст лучшие условия для развития науки. Журнал должен объединить в единый поток голоса славистов страны по поводу условий развития науки. Нам сначала надо решить как, при каких условиях перестраиваться, а потом заводить разговор о том, что будем перестраивать в славяноведении.

Для того, чтобы определить перспективы развития славяноведения, надо хорошо знать историю его развития. Работ такого характера явно недостает на страницах журнала. Что ценного можно почерпнуть из прошлого опыта, а что было наносным? Как менялся подход к науке? Полностью согласен с мнением коллег о необходимости рассмотрения методологических проблем на страницах журнала, работ обобщающего характера, определяющих путь развития науки. Мне кажется, начать дискуссии надо с обсуждения вот таких проблем. Думаю, это поможет пойти не по пути наращивания «актуальных тем», а по пути глубокого их изучения, определить наиболее перспективные направления развития советского славяноведения.

Может быть, стоит подумать о проведении научных семинаров по наиболее актуальным проблемам славистики на страницах журнала, где происходил бы не столько обмен информацией, сколько обмен идеями в масштабах страны. Такая научная гласность будет на пользу всем славистам. Это усилит конкурентоспособность различных научных школ, улучшит научный поиск в области славяноведения. Здесь, на этих семинарах, можно будет делать серьезные аналитические обзоры новейшей литературы по проблеме, сопоставить различные точки зрения, высказать научные гипотезы. Это значительно повысит уровень научной информации в различных областях славяноведения, превратит наш журнал в лабораторию современных идей.

Многие молодые ученые-слависты делают свои первые шаги. Почему бы журналу не взять на себя роль наставника и не открыть рубрику «Трибуна молодого автора»? Это позволит нам находить молодые дарования. Одним из упущений журнала является отсутствие материалов по проблемам молодежи славянских стран.

Станчев М. Г., канд. ист. наук, доцент кафедры истории КПСС Харьковского авиационного ин-та

Читаю новую рубрику, искренне радуюсь переменам в работе редакции, хочу принять участие в обмене мнениями. Предлагаю следующее:

1. Ввести в журнале раздел «Славистика [славяноведение] в высшей школе». Как все знают, основная масса славистов работает в вузах, а между тем на страницах журнала громче слышен голос другой категории ученых, а именно академических сотрудников. Первый же выпуск новой рубрики «Мнение читателя» это со всей отчетливостью и продемонстрировал: из девяти принявших в ней участие только один (В. В. Захаров) работает в вузе. Примечательно, что болгарские историки, созывая свой последний симпозиум по истории Болгарии, назвали его «Университетские исследования и преподавание болгарской истории...»

2. Наши рецензии так давно и справедливо укоряют в голой информационности, что и повторять не хочется. Беда, однако, в том, что это, так сказать, «дурная информационность»: рецензент часто сообщает, о чем пишет автор, но не всегда информирует, что он по этому поводу говорит.

3. Журналу хорошо бы знакомить читателей не только с новыми исследованиями, но и с людьми, их авторами. Я уже давно предлагал редакции, по примеру «Вопросов истории», сообщать «кто есть кто», позволяя тем самым устанавливать между славистами научные контакты.

4. Стремясь сделать журнал более читаемым, имеет смысл обратиться к красочным очеркам (это всегда отлично получается у Л. С. Кипкина), портретам (как советует Е. П. Наумов) и даже к путевым заметкам, как это делается в «Советской этнографии».

Я не уверен только в том, что в традиционную тематику журнала (как и всей нашей дисциплины) следует включать и восточнославянские народы, как рекомендует М. Ф. Мурьянов, — позиция А. С. Мыльникова, советующего ограничиться в данном случае связями, мне ближе. И уж, конечно, никак не следует сокращать периодичность выхода журнала.

Фрейденберг М. М., д-р ист. наук, зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков Калининского университета



Раннефеодальные государства на Балканах VI—XII вв. Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М., 1985, 364 с.

Авторский коллектив славистов поставил перед собой задачу проследить процесс зарождения и развития государственности у нескольких групп славян балканского региона, вылить общее и особенное в ходе эволюции ее конкретных форм, сравнивая этот процесс с трансформацией государственного строя Позднеримской (Византийской) империи. Речь идет об определении особенностей в складывании раннефеодальных отношений в пределах балканского региона и установлении типологии ранней государственности у южнославянских народов. Авторы в первую очередь интересуют вопросы социально-политического развития, но, учитывая слабую разработанность ранней истории южных славян, они в историко-хронологическом порядке излагают важнейшие события их внутривнутриполитической и внешнеполитической жизни, используя новейшую советскую и зарубежную литературу и производя самостоятельные исследования на основе весьма ограниченного круга имеющихся в распоряжении историков источников.

Книга открывается главой о Восточно-римской империи V—VI вв., задача которой, по определению ее автора Г. Г. Литаврина, дать краткий очерк ранне-византийской государственности и охарактеризовать обстановку, в которой формировались славянские раннефеодальные государства. Автор придерживается мнения, что крушение рабовладельческого строя в Восточно-римской империи произошло не в VI, а лишь в VII в. По-новому оценивается значение колоната в V—VI вв.: в общей массе крестьянства колонны составляли небольшую прослойку, и колонат не стал промежуточной формой перехода от рабства к феодализму.носителем феодальных отношений стал сформиро-

вавшийся позже слой париков (с. 12)

Время Юстиниана I автор относит не к первой стадии феодализма, а к последнему периоду рабовладельческого строя (с. 21). Характеристика административного устройства, военной организации, законодательства вполне согласуется с этим выводом.

Истории Византийской империи последующего периода (VII—XII вв.) посвящена глава III, написанная тем же автором в плане сравнительно-исторического исследования. Период истории Византии VII — середины IX в. характеризуется как переходный от рабовладения к феодализму, последующий (середина IX — конец XII) — как время полного оформления феодального строя. Главное внимание в главе уделено эволюции государственного устройства империи; очерк социально-экономического развития преследует цель выяснить основу изменения политической структуры. Укрепление бюрократического аппарата, его военизация были направлены, по мнению автора, на усиление централизованной системы эксплуатации населения (с. 111). На наш взгляд, это характерная черта раннефеодальной государственности, выступающая более рельефно в рабовладельческих империях, трансформирующихся в раннефеодальные. По концепции автора, вполне согласующейся с мнением многих наших историков, суть переходного периода от рабовладения к феодализму заключается в замене централизованной формы эксплуатации населения частной (превращение налогов в ренту), вследствие роста крупного частного и условного землевладения, нередко при содействии самой императорской власти, раздававшей отдельным лицам право сбора налогов с населения.

В пяти главах, посвященных истории отдельных этно-политических образова-

ний южных славян, материал изложен в хронологическом порядке, но при этом особо выделены основные вопросы — расселение славян в разных районах полуострова, их ранние этно-политические образования, формирование феодальных отношений, складывание раннефеодальных государств и их политико-административной структуры. Выясняются общие и специфические черты этих процессов, что позволяет в заключительном разделе труда установить их типологию.

О вторжениях славян на Балканы и заселении ими полуострова трактует глава II (авторы — О. В. Иванова, Г. Г. Литаврин). Суммируя данные новейших исследований и уточняя отдельные факты, авторы приходят к выводу, что массовым вторжениям славян (склавинов и автов) предшествовали их длительное соседство с империей на левобережье Нижнего Дуная, постепенное мирное и военное проникновение славян в пределы Византии. В результате этих массовых вторжений в разных районах полуострова образовался ряд «Славиний», характеристика которых дана и в этой главе, и в последующих. Впесена ясность в трактовку племенных славянских образований на Балканах. По определению авторов, Славинии представляли собой «этно-социальные организмы, военно-политические территориальные единства» (с. 65), «зародышевую форму феодальной государственности... на пороге превращения (племенных объединений. — К. Н.) в государственные образования» (с. 88). Е. П. Наумов характеризует Славинии на территории будущей Сербии как «устойчивые военно-территориальные союзы, которые уже в VII в. стояли на пороге раннефеодальной государственности или являлись формирующимися раннефеодальными государствами» (с. 192).

Вносятся существенные уточнения в трактовку вопросов разложения первобытнообщинных отношений и зарождения раннеклассового общественного строя у южных славян. Уже в период расселения на Левобережье Дуная славяне были земледельческим пародом, и как предполагают авторы, они принесли туда земледельческую общину на стадии ее перерастания в соседскую (с. 74); появились начальные формы эксплуатации общинников, что ускорило формирование государственности.

Весьма обстоятельно написана глава о формировании Болгарского государст-

ва (Литаврин Г. Г.). Автор четко определяет свою позицию при решении дискуссионных проблем по истории образования Болгарского государства. Это государство типологически ближе других балканских государств к Византии, оно характеризовалось рядом специфических черт, объясняемых особенностями синтеза славяно-болгарской и ранневизантийской общественных систем. Автор устанавливает три периода в истории раннефеодального Болгарского государства, в течение которых оно эволюционировало от «союзно-федеративного» славяно-протоболгарского до централизованного административного устройства (конец IX — начало XI в.).

Значительными особенностями характеризовалось формирование раннефеодальной государственности у сербов. В главе VI, написанной Наумовым Е. П., содержатся аргументированные выводы по дискуссионным вопросам истории сербской раннефеодальной государственности. Автор считает, что начало формирования Сербского государства относится к VII в. Отмечена своеобразная его черта — политический полицентризм, проявлявшийся в разных формах на протяжении нескольких веков (с. 198). Формирование самостоятельного Сербского государства затянулось до середины XI в. Его ядром стала Дукля (Зета). Это королевство еще не походило на относительно централизованные раннефеодальные государства (например, Болгарское X в.) и вскоре распалось. Созданное на новой территориально-династической основе королевство Неманичей автор характеризует как государство на стадии «сложившегося феодализма». Бросается, однако, в глаза одна существенная особенность этого государственного образования — оно не преодолело раздробленности, подобно другим феодальным государствам Западной и Центральной Европы. Видимо, эта раздробленность была в Сербии не столько «феодальной», сколько этнополитической.

В затруднительном положении из-за скудости источников оказалась автор главы о формировании Хорватского государства — О. А. Акимова. Формы общественно-политической организации хорватов до появления государственности она реконструирует лишь гипотетически. Тем не менее в главе содержится четкая характеристика административного устройства Хорватского государства, политическая сплоченность которого ос-

новывалась на его этнической однородности.

Своеобразный тип раннефеодальной государственности сформировался в городах Далматинского побережья. Перед авторами главы VII М. М. Фрейденбергом и А. В. Чернышевым стояла сложная задача — вписать ее содержание в общую тему труда о раннесредневековой, в основном славянской государственности. Они полагают, что административная практика далматинских городских республик широко использовалась балканскими государствами, хотя полисно-муниципальное, а позже коммунальное устройство сложилось в этих городах на романо-итальянской основе. На наш взгляд, глава любопытна в плане изучения своеобразия раннекоммунального устройства далматинских городов, городского права и судебной организации. Правда, эти сюжеты относятся уже к периоду сложившегося феодализма.

Особый интерес представляет глава VIII о межэтнических и межгосударственных отношениях на Балканах в VI—XII вв. (Г. Г. Литаврин, Е. П. Наумов). Проблема до сих пор почти не изучалась, и выводы авторов строятся преимущественно на материале данного коллективного труда. Вполне обоснована предлагаемая периодизация межэтнических связей и международных отношений в этом регионе Европы (с. 286), где противоборствовали в VI—VII вв. Византия и Аварский хаганат, а в VIII—IX вв. — Византия и Болгарское государство, соперничавшие в подчинении отдельных Славиний, а затем боровшиеся за гегемонию на полуострове.

В заключение труда Г. Г. Литаврин сформулировал некоторые общие положения, вытекающие из конкретных исследований отдельных авторов, и установил общие черты в характере и структуре сложившихся на Балканах раннефеодальных государств. Главная из них: «опережающее утверждение централизованной (государственной) эксплуатации населения (с. 314), на которое возлагалась также безвозмездная военная служба. Система провинциального управления строилась по территориальному (а не вотчинному) принципу. Следует сказать, что эти черты раннефеодальной государственности были свойственны в большей или меньшей степени

всем подобного рода государствам, не исключая, пожалуй, и современной им Византийской империи. Автор делит Балканские государства на три подтипа: византийско-болгарский, которому свойственна наибольшая степень централизации; хорватский, стоявший ближе к византийскому, и сербский, отличавшийся сравнительной гетерогенностью административной структуры. Эти своеобразия он объясняет особенностями синтеза византийского рабовладельческого и славянского (разлагавшегося) первобытнообщинного строя (с. 326). Синтез наиболее зримо проявился в социально-экономической сфере, в меньшей степени — в общественно-политической и идеологической. Для Византии влияние славянского элемента сказалось деструктивно — ускорилось разложение рабовладельческих отношений.

Рецензируемая книга вносит существенный вклад в изучение истории балканских, в частности южнославянских народов и государств в период раннего средневековья. На современном уровне исторических знаний поставлены и в большей или в меньшей степени решены такие важные теоретические проблемы, как характер раннефеодальной государственности, ее типология в указанном регионе, формы синтеза восточноримской рабовладельческой и славянских («варварских») общественных систем в формировании феодализма на Балканах.

Представляется, однако, целесообразным строить периодизацию истории всех балканских государств, включая и Византию, по общему принципу, к этому обязывает и название труда. Но к истории Византии почему-то применяется другая схема периодизации — вместо «раннего феодализма» там фигурирует «переходный период» от рабовладельческого к феодальному строю, которому отводится целых 2,5 века. Подобные «переходные периоды» (от первобытнообщинного строя к феодальному) были и у славянских народов.

Встречаются отдельные неточные определения, например, «городской епископат», искажающие общеизвестные понятия (с. 267, 278).

Очевидным недостатком является отсутствие карт, что затрудняет чтение специальных глав.

Колесницкий Н. Ф.

Рецензируемая книга Л. Я. Гибянского — первая в советской историографии монографическая работа, посвященная комплексному анализу отношений между СССР и новой Югославией в течение всего периода возникновения и утверждения этих отношений в военные и первые послевоенные годы.

Следует сказать, что это, в сущности, первая работа такого рода в исторической литературе. Хотя в зарубежной историографии немало писалось о советско-югославских отношениях указанного периода, однако, как отмечает Л. Я. Гибянский, это, за редким исключением, не было результатом их специального рассмотрения. Причем значительное распространение получили не связанные с исследованием фактического материала, а противоречащие ему произвольные интерпретации, вымыслы, берущие начало из некоторых югославских публикаций, особенно В. Дедиера, появившихся в начале 50-х годов в обстановке нарушения взаимных отношений. В этих публикациях отношения между СССР и новой Югославией 1941—1947 гг. изображались как непрерывно нарастающие противоречия, столкновения, а позиция Советского Союза — как враждебная югославской революции, новой Югославии. Подобные вымыслы использованы в западной литературе и в работах ряда югославских историков. Принимая во внимание это обстоятельство, Л. Я. Гибянский поставил перед собой, и на наш взгляд, в целом успешно решил, двойную задачу: исследовал историю советско-югославских отношений 1941—1947 гг. одновременно с анализом историографии по рассматриваемым вопросам.

Монография построена по проблемно-хронологическому принципу и состоит из двух разделов и пяти глав. В первом разделе рассматриваются проблемы становления отношений между СССР и новой Югославией в период совместной борьбы с фашизмом в 1941—1945 гг. Автор выделяет здесь три основных этапа, каждому из которых посвящена отдельная глава.

В первой анализируется начальный этап — 1941—1943 гг. Давая характеристику основных направлений и особенностей процесса возникновения новой Югославии, Л. Я. Гибянский показы-

вает, что ее становление началось с восстания 1941 г., но еще не как собственно государства, а как народно-освободительного движения (НОД) в оккупированной стране, в рамках которого стала фактически формироваться революционная политическая система. В ходе освободительной борьбы и революции из этой системы постепенно вырастала новая государственность, конституировавшаяся в ноябре 1943 г. Такая специфика обусловила и своеобразие тех конкретно-исторических форм, в которых зарождались отношения Советского Союза и новой Югославии. На начальном этапе 1941—1943 гг. они формировались не как межгосударственные, а как отношения между социалистическим государством и освободительным движением югославских народов. По мере того, как из НОД складывалась новая государственность, взаимоотношения СССР с нею перерастали в межгосударственные.

В монографии раскрываются содержание и внутренняя структура этих отношений, тесное переплетение в них двух основных элементов: СССР и возникающая новая Югославия были союзниками как в общей борьбе против фашизма, так и в достижении общих для обеих сторон социально-революционных целей. Причем именно второе и играло решающую роль, проявляясь, особенно как раз на начальном этапе, не в «чистом» виде, а в рамках антифашистской солидарности. Автор проследживает конкретные формы и механизм действия тесной интернациональной взаимосвязи СССР и НОД как классово-политических союзников в условиях войны с фашизмом.

Всесторонне анализируются политическая, пропагандистская, дипломатическая помощь, которую Советский Союз оказывал НОД в борьбе не только против оккупантов, но и против вступивших в сотрудничество с ними сил буржуазно-монархической контрреволюции — четников Михайловича. Исследование Л. Я. Гибянского с очевидностью свидетельствует, что наряду с военными и политическими успехами самого НОД советская помощь имела важнейшее значение в укреплении его позиций, в его признании в 1943 г. Англией и США.

Во второй главе рассматривается про-

цесс установления прямых отношений между обеими сторонами, налаживания их непосредственного политического и военного сотрудничества. Большой интерес вызывает анализ деятельности военных миссий, которыми СССР и новая Югославия обменялись в начале 1944 г. и которые стали первыми государственно-политическими представительствами. Показана важнейшая роль советской поддержки в противостоянии всем попыткам западных союзников навязать народам Югославии дискредитировавшее себя эмигрантское королевское правительство.

Кульминацией становления межгосударственных отношений в ходе войны стало рассматриваемое Л. Я. Гибианским в третьей главе сотрудничество СССР и новой Югославии в период изгнания фашистских оккупантов с югославской территории осенью 1944 — весной 1945 гг. Как известно, в советской, а также в югославской историографии боевое сотрудничество двух армий получило уже немалое освещение, в том числе в специальной монографии военных историков обеих стран о Белградской операции [1]. Поэтому Л. Я. Гибианский сосредоточивает свое внимание на выяснении его реального значения как составной части становления межгосударственных отношений. Глубоко аргументирован его вывод о том, что договоренности о военном сотрудничестве, достигнутые на переговорах советского руководства с И. Броз Тито в Москве в сентябре 1944 г., и их реализация осенью 1944 г. — весной 1945 г. представляли собой оформление и непосредственное воплощение военно-политического союза между СССР и новой Югославией, сложившегося в рамках антигитлеровской коалиции, но в отличие от нее базировавшегося на классово-пролетарских принципах интернационализма. Автор глубоко исследовал также политическое взаимодействие СССР и новой Югославии, советскую дипломатическую поддержку как фактора, позволившего добиться урегулирования югославского вопроса в антигитлеровской коалиции в интересах новой Югославии, ее официального дипломатического признания государствами коалиции. В рамках этого признания весной 1945 г. завершилось оформление межгосударственных отношений Советского Союза и новой Югославии и был заключен договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, справедливо

охарактеризованный в книге как международно-правовое закрепление союза двух стран.

Крупный комплекс проблем исследован во втором разделе монографии, посвященном советско-югославским отношениям в первые послевоенные годы (до апреля 1947 г.) Давая широкую картину двусторонних контактов, Л. Я. Гибианский убедительно раскрывает то особое значение, какое в тогдашних условиях имели различного рода помощь и содействие Советского Союза строительству новой Югославии. Одновременно автор показывает, что это взаимодействие базировалось, как и во время войны, на общности их социально-политических целей и национально-государственных интересов СССР и новой Югославии. На том же основывалось в первые послевоенные годы и советско-югославское сотрудничество на международной арене, рассматриваемое в пятой главе. Л. Я. Гибианский обстоятельно исследовал всестороннюю поддержку, оказанную Советским Союзом новой Югославии в борьбе за упрочение ее международных позиций, тесные связи между СССР и новой Югославией по широкому кругу проблем послевоенного мирного урегулирования в Европе. Автор не избегает вопросов, до сих пор не обсуждавшихся в советской историографии, зачисленных в разряд «нежелательных» для рассмотрения. Сюда относится, например, позиция СССР по поводу четников в 1941 — начале 1942 г. в связи с его недостаточной информированностью в тот период о развитии событий в Югославии. Или различные моменты советской тактической линии в югославском вопросе в период войны, обусловленные существованием антигитлеровской коалиции, такие, как взаимное преобразование СССР и югославским эмигрантским правительством аккредитованных друг при друге дипломатических миссий в посольства в сентябре 1942 г., тактика поэтапных действий СССР в конце 1943 г. в связи с решением II сессии Антифашистского вече народного освобождения Югославии и т. п. Анализируя историографические интерпретации рассматриваемой темы, автор тщательно распутывает и мифы по многим другим ее аспектам, также получившие хождение в зарубежных работах. Он наглядно обнажает несостоятельность этих мифов. Нельзя не отметить строгую научность, конкретность, доказательность ведущейся Л. Я. Гибианским полемики, опирающейся, как и вся даваемая им характеристика со-

ветско-югославских отношений 1941—1947 гг., на большой документальный материал, в том числе архивный, впервые введенный в научный оборот.

Не случайно работа сразу же привлекла внимание в СФРЮ. В первых откликах, появившихся в таких ведущих газетах, как «Борба», где фамилия автора и данные о нем указаны, к сожалению, с ошибкой, и «Политика», монография оценивается как особое явление в советской литературе по новейшей истории Югославии, ее выход связывается с происходящей у нас в стране перестройкой, со сдвигами в нашей исторической науке. При этом отмечается и то, что освещение автором ряда вопросов расходится с трактовками югославских историков. Проф. Б. Петранович высказался на страницах «Политики» за совместное обсуждение советскими и югославскими специалистами соответствующих спорных проблем на основе исследования Л. Я. Гибианского и вероятных критических замечаний югославских историков [2].

Следует сказать, что рецензируемая монография свидетельствует и о том, сколь непросто преодоление складывавшейся годами инерции замалчивания сложных исторических реалий. Так, в книге отсутствует важное положение, выдвинутое Л. Я. Гибианским в предшествующих его работах о том, что единство целей СССР и новой Югославии сочеталось в определенных случаях с несовпадением тактики обеих сторон в достижении их, в частности в период 1941—1943 г. Для СССР это было связано с широким диапазоном проблем мировой политики, в Югославии — с развитием обстановки в самой стране [3]. Это же относится и к периоду 1945—1947 гг. Так, в монографии сделан принципиально важный и аргументированный вывод о совпадении главных непосредственно проявлявшихся в тот период национально-государственных интересов СССР и новой Югославии, однако, не упоминается, так ли было со всем кругом национально-государственных интересов двух стран или по каким-то из них имелись и частичные несовпадения. Вообще во втором разделе монографии несоизмеримо меньше, чем в первом, затронуты проблемы из разряда упоминавшихся выше «трудных», хотя для 1945—1947 гг. они

не менее характерны, тем более что в рукописном варианте монографии они присутствовали.

Вызывает размышления конечный хронологический рубеж книги — апрель 1947 г., когда с завершением послевоенного восстановления и окончательным закреплением победы югославской революции был принят первый пятилетний план, знаменовавший переход к непосредственному построению основ социализма в Югославии. С точки зрения ее социалистического развития названный рубеж, очевидно, бесспорен. Но с точки зрения советско-югославских отношений не было ли более оправданным довести работу до конца 1947 — начала 1948 г., т. е. до последовавшего затем крутого поворота в этих отношениях? Либо включить в нее и сам их разрыв в 1948—1949 гг.? Впрочем, еще совсем недавно такие вопросы было невозможно даже ставить и упрек автору был бы здесь едва ли уместен. Подчеркнем еще раз: в монографии Л. Я. Гибианского поднят и успешно решен широкий круг проблем, до того не рассматривавшихся в нашей литературе или не получавших столь глубокого анализа. Книга Л. Я. Гибианского побуждает к размышлениям и в более широком плане над многими до сих пор малоосвещенными проблемами развития мировой социалистической системы во всей их сложности. Эта отличающаяся научной новизной работа, несомненно, станет и основой любого дальнейшего исследования советско-югославских отношений 40-х годов, в том числе драматических событий 1948 г., региональных проблем и отношения к ним СССР, явно ждущих своего освещения в советской историографии.

Пол И. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белградская операция. М., 1964.
2. Борба, 1987, 8 VII, с. 7; Политика, 1987, 26 VII, с. 9.
3. Гибианский Л. Я. Советский Союз и югославское народно-освободительное движение в 1941—1943 гг. — Советское славяноведение, 1984, № 5, с. 13; Гибианский Л. Я. Югославский вопрос в антигитлеровской коалиции и позиция СССР (1941—1942 гг.). — Балканские исследования. Вып. 9. М., 1984, с. 245—246.

Монография В. М. Хевролиной, посвященная взглядам революционно-демократических кругов России на проблемы внешней политики и международных отношений, восполняет существующий в советской исторической литературе пробел. Впервые названная проблема рассматривается специально и в комплексе.

Внешнеполитические воззрения русской революционной демократии 60—80-х годов XIX в. составляют немаловажную часть революционно-демократической идеологии. Их изучение способствует более глубокому пониманию политических и социологических взглядов идеологов революционного движения, а также революционной практики.

Работа построена по проблемно-хронологическому принципу. Первые две главы посвящены теоретическим и методологическим аспектам внешнеполитических воззрений революционных демократов, в следующих четырех даны конкретные оценки важнейших международных событий того времени — франко-прусской войны 1870—1871 гг. и образования Германской империи, национально-освободительного движения на Балканах в 70-х годах, русско-турецкой войны 1877—1878 гг., политики России в европейском и среднеазиатском регионах.

Уделив в рецензии основное внимание интересующим нас в первую очередь взглядам революционно-демократических кругов на балканский вопрос, отметим ряд общих особенностей книги В. М. Хевролиной. Она написана на основе большого круга источников, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые. Это — мемуары и письма, судебно-следственные документы. Привлечена демократическая и революционная пресса, публицистика, агитационная литература.

Основное внимание автор уделяет внешнеполитическим воззрениям революционных народников, но характеризуются позиции представителей других революционно-демократических течений ненароднического направления. Автор подчеркивает, что их внешнеполитические воззрения в целом противостояли политике царского правительства и поддерживавших ее буржуазно-помещичьих кругов.

Работа написана на высоком идейно-теоретическом уровне. Теоретические

проблемы рассмотрены на основе обобщения большого конкретно-исторического материала и тесно увязаны с философскими и социологическими построениями революционных идеологов.

Автор задалась целью вскрыть истоки взглядов революционных демократов на внешнюю политику и международные отношения. Главным при этом был вопрос о государстве и его внешнеполитической функции. В. М. Хевролина показала, что, несмотря на идеалистическую основу государственно-политических воззрений народников, они осознавали связь внутренней и внешней политики эксплуататорского государства, а революционно-демократическая направленность их взглядов обусловила активный протест против хищнического характера современных им международных отношений, войн, ведущихся в интересах правящих классов. Революционные демократы выдвинули тезис о том, что только социалистическая революция приведет к исчезновению войн и насилия во всем мире (с. 33—34).

Большой интерес представляет исследование взглядов народников на национально-освободительные движения. Идеологи народничества не связывали процессы капиталистического развития и формирования наций и отрицали прогрессивное значение образования национальных государств. В то же время революционный демократизм народников нашел отражение в их национальной программе — требовании равноправия наций, права на их самостоятельное развитие, сочтения социальной и национальной борьбы и др.

Автор справедливо указывает на черты мелкобуржуазного национализма в программе народников. Этот вывод важен для понимания позиции в балканском вопросе, которому в книге уделено большое внимание. Отношение революционных кругов к национально-освободительному движению на Балканах рассматривалось историками, исследовавшими главным образом российско-балканские революционные связи. В. М. Хевролина показывает новые аспекты этой темы: роль балканского вопроса в развитии революционно-демократической идеологии, отношение революционно-демократических кругов к балканской политике России.

В работе детально прослежено складывание двух тенденций в революцион-

ных кругах — признания и отрицания исторической прогрессивности национально-освободительной борьбы на Балканах, вскрыта роль демократической прессы в формировании общественного мнения по балканскому вопросу (с. 135). Приводятся новые убедительные факты в пользу высказанного ранее в советской исторической литературе мнения о том, что восстание в Боснии и Герцеговине дало толчок к поискам путей подготовки народного восстания в России. Новые факты позволяют рассматривать Казанскую демонстрацию 1876 г. как выступление не только против внутренней, но и против внешней политики царизма в преддверии русско-турецкой войны (с. 158—159).

Специальная глава посвящена анализу взглядов революционно-демократических кругов на русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Автор показала, что в демократической и революционной среде не было единства по этому вопросу. Крайние мнения (о том, что царизм преследовал в войне только своекорыстные цели и что она была бесполезна для судеб балканских народов) соседствовали с более объективными — о громадной роли освободительного движения в прогрессивном развитии Балкан. В работе показано, что демократическая пресса воспользовалась войной для постановки требующих решения злободневных вопросов внутреннего развития, для пропаганды необходимости внутриполитических прогрессивных преобразований.

В книге освещена позиция революционной эмиграции, апативная деятельность народников в стране, вскрыты истоки пораженческой позиции, присущей многим революционерам, расчитывавшим, что неудача в войне повлечет за собой прогрессивные реформы и приблизит конец самодержавия. В то же время автор справедливо подчеркнула односторонность народнических оценок войны, неправомочность отрицания ее значения для балканских народов. В действительности русско-турецкая война независимо от субъективных целей царизма сыграла объективно прогрессивную роль в судьбах балканских народов, способствуя созданию национальных независимых государств и освобождению их от турецкого ига. Следует согласиться с мнением автора о громадном влиянии освободительной борьбы на складывание в стране революционной ситуации в конце 70-х годов, а также на кризис апатизма народничества (с. 198).

В последней главе рассматриваются внешнеполитические воззрения революционных и демократических кругов в период после Берлинского конгресса. Здесь привлекает внимание анализ высказываний революционной прессы («Народная воля», «Листок „Народной воли“» и др.) о событиях в Болгарии в первой половине 80-х годов, а также материал об отношении революционеров к восстанию в Герцеговине в 1882 г. против австро-венгерской оккупации.

В целом, В. М. Хевролиной удалось показать развитие «балканской линии» во внешнеполитических воззрениях революционно-демократического лагеря. Работа свидетельствует о том, что эти воззрения, хотя и не сложились еще в четко оформленную систему, но уже представляли ее зачатки. Главным в них, как отмечает автор, была их революционная направленность, подход к внешнеполитическим вопросам с позиций интересов трудовых масс, революционного движения в России, западноевропейского революционного движения. Это обусловило критический взгляд на международные отношения капиталистической эпохи, призыв к борьбе с реакционными режимами, проводившими внешнюю политику агрессии и завоеваний, призыв к международной солидарности трудящихся.

В интересной и ценной работе В. М. Хевролиной имеется ряд пробелов и недостатков. Так, автор использовала не все работы зарубежных, в частности болгарских, исследователей, где рассмотрены отдельные частные вопросы русско-балканских революционных и общественных связей (В. Паскалева, Ив. Панайотов, И. Эшкенази). Можно было шире привлечь материалы демократической прессы о национально-освободительном движении на Балканах, в частности, статьи П. А. Ровинского в «Отечественных записках». Желательно было бы показать связь и различие внешнеполитической концепции революционного демократизма и буржуазного либерализма. Наконец, подчеркивая националистическую сущность воззрений М. П. Драгоманова (с. 82), автор, на наш взгляд, должна была бы указать и на положительные черты его национально-культурной программы — требование уважения, изучения и развития национальных культур.

Однако указанные недочеты не умаляют значения работы, являющейся существенным вкладом в изучение истории революционной идеологии и русско-славянских связей.

Улуян А. А.

Жизненный и творческий путь выдающегося белорусского поэта и мыслителя Янки Купалы (Ивана Доминиковича Лудевича (1882—1942) в контексте национальной славянской и мировой культур отражен в энциклопедическом справочнике «Янка Купала» [1]. Это первая в БССР и третья в нашей стране (после Лермонтовской и Шевченко-ской) персональная литературная энциклопедия.

Издание подвело итог большой исследовательской работе: впервые проанализированы многие произведения поэта, его публицистика, некоторые аспекты мировоззрения и новые факты его биографии. В книгу вошли 3095 статей различного объема — «микроследования» произведений поэта, проблемные статьи о жанрах его литературного наследия, анализ взаимосвязей его творчества с литературами народов СССР, европейскими и особенно славянскими литературами. Различные по содержанию и форме материалы охватывают воплощение сюжетов и образов купаловских произведений в изобразительном искусстве, музыке, театре и кино, информируют о периодических и иных изданиях, в которых рецензировалось или затрагивалось творчество Купалы, его личность и мировоззрение. Значительное место отведено персоналиям — лицам, так или иначе имевшим отношение к писателю. В книге 602 внутритекстовых иллюстрации и 187 иллюстраций на вклейках, из которых 65 цветных.

Одним словом, энциклопедический справочник «Янка Купала» — это научная систематизация наших знаний о поэте, и вместе с тем новый этап купаловедения. Быть может, не все получилось наилучшим образом у создателей многообразного по содержанию издания. Когда, например, во вступительной статье утверждается, что Купала «основоположник (вместе с Я. Коласом) белорусской советской литературы и литературного языка», то у читателя возникает вопрос: а разве у белорусов до Купалы и Коласа не было литературного языка? И разве только они основали белорусскую советскую литературу? Как в таком случае быть с В. Душиным-Марцинкевичем, Ф. Богушевичем, другими зачинателями «литературного» возрождения Белоруссии, творившими в XIX в.? Ведь именно их пример оказал сильное воздействие на творчество и Купалы, и Коласа (как и их современников), что сами они неоднократно подчеркивали.

В обстоятельных статьях ведущих белорусских литературоведов раскрываются программные произведения поэта, отразившие историческую судьбу белорусского народа и его духовной культуры (стихотворение «А кто там идет?», поэмы «Курган», «Извечная песня», «Она и я», драмы «Павлинака», «Разоренное гнездо» и др.). Стихотворение «А кто там идет?», переведенное на 82 языка, в том числе на все славянские, в символично-романтических, возвышенных образах воплощает драматическую судьбу белорусского народа и его культуры. Ученых-славистов наверняка заинтересуют статьи о взаимосвязях творчества Я. Купалы с русской, украинской, польской литературами.

В творческой судьбе поэта исключительно благородную роль сыграл М. Горький, первым из русских писателей обративший внимание на сильное и самобытное дарование автора стихотворения «А кто там идет?», которое пролетарский мастер слова назвал «национальным гимном» белорусов, переводя его на русский язык (1910). Для приближения творчества Купалы к русскому, украинскому, в советское время — к всесоюзному читателю многое сделали такие известные поэты и переводчики как В. Брюсов, М. Исаковский, С. Голодный, А. Прокофьев, М. Светлов, А. Твардовский, Н. Тихонов, П. Тычина, М. Нагнибеда, Дм. Павлычко, М. Рыльский, чьим именем в справочнике посвящены специальные статьи.

Богатую информацию для размышлений дает также обширный материал о связях Я. Купалы с польской литературой, особенно с ее романтическим течением (творчество А. Мицкевича, Ю. Словацкого, С. Выспянского), оставившим заметный след в становлении романтической поэтики самого Купалы, показав также огромный новаторский вклад поэта в перевод на белорусский язык многих шедевров польских мастеров слова. Специальными статьями представлен купаловский контекст в болгарской, серболужицкой литературах. Труднее, к сожалению, вынести общее представление об этом же контексте в литературах Чехии, Словакии, Югославии, не выделенных в справочнике обобщающими публикациями, хотя заслуги перед купаловедением различных деятелей культуры этих стран (например, известного чешского писателя и ученого-слависта А. Черного) освещены в материалах, по-

священных отдельным персоналиям.

В словарь включен ряд стихотворений и публицистических выступлений Я. Купалы, не вошедших ни в одно из его собраний сочинений 30—70-х годов. И в рецензируемом издании важная часть литературного наследия поэта замолчена или подана с большим упрощением (например, комедия «Тутэйшыя»), издательству БелСЭ так и не удалось включить в Купаловскую энциклопедию высокохудожественный цикл его стихотворений «На вайсковыя матывы», программные стихи «Сярод раз'юшаных сатрапаў»..., «Годзе...», «Смейся», «Перед будучыняй», «Чараўнік», статьи «Торжышча», «Антанта», «Моладзь ідзе», «Беларускі сцяг уваскрос», «Незалежнасць Беларусі», «Справа беларускага нацыянальнага гімна» и другие произведения 1917—1920 гг. Всего же соберется на хороший том кому-то «неудобных» произведений классика белорусской литературы.

Еще в начале 30-х годов в период культа личности Сталина, репрессий деятелей советской культуры и господства крайних форм вульгарного социологизма многие произведения Купалы были оклеветаны «критикой» Л. Бэнды и его сторонниками. Поэта даже заставили «покаяться» и отречься от некоторых честных произведений как якобы «националистических» и «кулацких». Спекулируя этими присорбными и трагическими фактами, ссылаясь на оценки 30-х годов, сегодня некоторые чиновники от культуры пытаются тормозить процесс рестройки в области издательской политики и науки. Научной и литературной общественности советской Белоруссии следует проявить настойчивость, чтобы вернуть народу всего Купалу. Тем более, что в «исключенных» из купаловского наследия произведениях поэт утверждал идеи революционного демократизма, отстаивал право белорусского народа на самоопределение, выявил верность революционным преобразованиям.

Нельзя не сказать о том, что во времена культа личности в целом пострадало всестороннее развитие национальной духовной культуры республики. В 20-е годы ее расцвету благоприятствовала политика партии и правительства, известная под названием «белорусизация». Основываясь на положении первой ленинской программы РСДРП (1903) о праве каждого народа на родной

язык и свою культуру, на известную резолюцию X съезда РКП(б) «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» (1921), в Белоруссии была разработана программа реализации практических мероприятий, направленных на утверждение равноправия белорусского языка с русским и другими языками народов СССР. Однако уже в 1929—1933 гг. после репрессий значительной части белорусской советской интеллигенции судьба этой политики оказалась в руках бюрократии, которая под прикрытием революционной фразеологии немало потрудилась над выхолащиванием из нее ленинского интернационалистского духа.

В годы подготовки Купаловской энциклопедии к печати печальное наследие культа личности было преодолено, к сожалению, не полностью. И книга о Купале, кроме прочего, властное напоминание о необходимости последовательного возвращения к ленинским принципам национальной политики, в том числе в области культуры.

Глубоко национальный поэт, Купала вошел в отечественную литературу как подлинный певец дружбы народов, как выразитель высших гуманистических устремлений человека.

Насколько, к примеру, современно звучит философская медитация в сонете «Чаму?» («Почему?», 1915 г.): Дух человеческий бесстрашен и безмерен — / Где бы не реял он, куда б не воспарил — / В хаосе мировом, в борьбе вселенских сил / Он верит сам в себя и сам себе он верен.

И в заключении поэт обращается к вольному человеческому духу с вопросом: Зачем он так бессилен, непокорный, / Там, где под звон кандалный в злобе черной / Раба огнем и кровью губит раб? (*Перевод Н. Кислика*)

Разве не актуальны эти стихи Я. Купалы сегодня, в эпоху всеобщего противостояния всякому насилию над человеком, борьбы за выживание человечества? И если Купаловская энциклопедия приблизила духовное наследие поэта к современности, то ее создатели выполнили свою благородную задачу.

Конан В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Япка Купала. Эцыклапедычны даведнік. Мінск, 1986, 777 с.

Польская ономастическая школа имеет длительную научную традицию и за последние десятилетия внесла существенный вклад в изучение кардинальных проблем славянской топонимики. Рецензируемая книга М. Кондратюка выполнена в русле этой школы и представляет собой весьма полное описание и этимологический анализ топонимии и микротопонимии Белостокского воеводства и прилегающих к нему (на территории Польши) районов.

Книга состоит из краткого введения общего характера, двух больших разделов — «Балтизмы в топонимии» и «Балтизмы в микротопонимии» и краткого словообразовательного очерка. За основной частью книги следуют указатели (местностей, в которых наличествуют балтийские топонимы; пунктов, обозначенных на прилагаемых картах; библиографических сокращений; сокращений названий административных единиц; прочих сокращений; топонимов) и разнообразие карты (как по исследуемому ареалу в целом, так и по отдельным часто встречающимся названиям). К сожалению, в справочную часть книги не включен указатель а *tergo*, который, после появления таких работ, как [1] и [2], представляется необходимым и, можно сказать, обязательным для любого монографического описания топо- или гидроимического ареала.

Исследование М. Кондратюка базируется на диалектологических записях 60-х годов, а также на внушительном списке опубликованных источников, охватывающих историю ареала с XIV по XX в. В основной части книги материал организован по словарному принципу. В рамках каждой статьи дается богатая информация, документирующая топоним (его официальную и диалектные формы, исторические свидетельства), и этимологическое толкование (обычно, также с детальной литературой вопроса).

Избранный автором регион представляет значительный интерес для изучения с точки зрения балто-славянских этнических и языковых контактов. Белостокское воеводство, непосредственно граничащее с территорией распространения литовского языка и исторически пред-

ставляющее собой область бытования являгов, обнаруживает, как и смежные с ним зоны, исключительно высокую концентрацию гидронимов и топонимов балтийского происхождения. К югу и западу от этого региона количество балтизмов постепенно убывает, хотя, как мы пытались показать в другом месте [3], архаичные по фонетическому облику балтизмы могут быть выявлены в небольших количествах даже в бассейне Варты и в верхнем течении Вислы. Из такого распределения названий балтийского происхождения, кстати, ни в коем случае не следует, что древнейший их слой располагался в северо-восточном углу Польши: напротив, топонимия (и гидронимия) Белостокского воеводства содержит весьма значительное число явно поздних литуанизмов, характеризующих лишь славяно-балтийские контакты сравнительно недавнего прошлого. Это делает насущной задачу отделения от огромной массы подобных поздних балтийских элементов тех единиц, возникновение которых может быть отнесено к более ранним эпохам. Ясно, что первым требованием при этом оказывается историко-фонетический анализ балтийских топонимов, а затем — их стратификация. К сожалению, М. Кондратюк не поставил перед собой такой задачи, и ее еще только предстоит решать.

В довольно многих статьях автор предлагает читателю этимологическую альтернативу, ставя его перед выбором между балтийской и славянской этимологией топонима. Это представляется вполне естественным и вообще характерно для исследования накладывающихся друг на друга и с трудом поддающихся различению славянских и балтийских гидро- и топонимических систем. Более серьезные возражения методического характера вызывает стремление автора считать балтийскими те топонимы, которые образованы уже на славянской почве от апеллятивов балтийского происхождения. Так, например, анализируя топоним *Jagłowo* (до XVII в. — *Jedłowo*), М. Кондратюк справедливо связывает его с польск. диал. *jedła*, *jegła* «ель» < лит. *ėglė* то же (при прус. *addle*). Это безусловно верно, но никак не может служить основанием

для зачисления Jagłowo в балтизмы. Так же неприемлемо понимание как балтизма микропонима *Dziegclane Jamy*, тем более что под вопросом остается даже балтийская этимология славянского апеллатива **degzъ*.

Большинство этимологических решений, принятых автором, достаточно прозрачны и, что называется, лежат на поверхности. Это вполне естественно ввиду относительно недавнего возникновения значительной части балтийской топонимии в этом регионе, о чем уже говорилось выше. В то же время некоторые топонимы были значительно преобразованы фонетически и словообразовательно — обращаясь к ним, М. Кондратюк демонстрирует несомненную этимологическую проницательность. Ограничимся одним примером; анализируя топоним *Epidemia* и привлекая к сравнению диалектную форму этого названия *Apidem'a*, автор убедительно указывает его балтийский источник — лит. *apidémė* «общий участок земли между двумя усадьбами; место у дома; выгон».

Довольно большое количество конкретных решений может, как кажется, вызвать недоверие или сомнения, но часто это объясняется лишь тем, что автор не решил задачи, которой — повторим справедливости ради — он и не ставил перед собой: фонетика славянских передач балтизмов остается в целом известной лишь приблизительно. Именно по этой причине трудно согласиться с такими объяснениями автора, как *Tarusy* < лит. ЛИ **Taurus* (но без упоминания существенного в данном случае рус. *Tarysal*), *Jatła* < балт. **Jautela*, *Opołynie* < лит. *apvālymas* «место, очищенное от пней, корней и под.», *Pikla* < лит. *piūklas* «пила», *Wieśnin* лит. *versmūnas* «место, изобилующее источниками». Досадно, что М. Кондратюк явно недостаточно использует материал балтийской гидронимии и топонимии на других славянских территориях (ср. выше о *Tarusy*), что в ряде случаев расширило бы этимологическую перспективу, ср. хотя бы *Кудрино* при таких же балтизмах на восточнославянской территории, включая *Кудрино* московской микропонимии.

Естественно, что даже в столь тщательно выполненном исследовании име-

ется некоторый «этимологический остаток», который представит интерес для других лингвистов как нерешенная пока задача. Совершенно неясными, например, кажутся такие топонимы, как *Vanegda* и *Vomole*, интерпретации которых в рецензируемой книге явно неудачны. К этому же «остатку» мы отнесем и топоним *Musarg* из апеллативного *musarg*, *musas*, *musar*, *muszar* «поросшее мхом болотистое место; торфяник; лес на заболоченном, поросшем мхом месте». Т. Зданевич высказал мысль, что названная лексема обязана своим возникновением ятвяжскому влиянию (ввиду предполагаемого итв. **mus-* «мох» = слав. **mъxъ*) [4]. Принимая в целом эту гипотезу, мы хотели бы дополнить ее предположением о том, что к тому же источнику восходит (с развитием значения «нечто замшелое» > «сор») и рус. *мусор*, не имеющее параллелей в других славянских языках и толкуемое либо как продолжение и.-с. **moud-s-* (?), либо как заимствование из тюркского, с вариантами *бусырь*, *бусор* [5], что все-таки не кажется вполне убедительным.

В заключение хотелось бы еще раз повторить высокую общую оценку книги М. Кондратюка, написанной в лучших традициях польской ономастики и несомненно исключительно полезной для дальнейших исследований в области балто-славянских языковых контактов.

Орел В. Э.

ЛИТЕРАТУРА

1. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
2. Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этимическая интерпретация. М., 1968.
3. Орел В. Э. Балтийские гидронимы бассейна Варты. — *Onomastica*, 1988. (в печати).
4. Зданевич Т. Географическое расположение балтийских и славянских названий мшистых болот, основанных на корнях *mъch-* (эквивалент балтийского *mus-*) и *sam-* (**sam-*) на Сувальщине. — В кн.: Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. Предварительные материалы. М., 1978, с. 80—82.
5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1971, с. 17.



М. KUČERA. Postavy vel'komoravskej histórie. Martin, 1986, 298 s.

М. КУЧЕРА. Деятели великоморавской истории

Издательство «Освета» выпустило в серии «Традиции и современность» монографию известного словацкого историка М. Кучеры о Великой Моравии. В форме рассказов о ее крупнейших политических деятелях автор дает широкую панораму эпохи, предлагает оригинальную интерпретацию дискуссионных проблем, связанных с державой Само, с внутриполитической историей Великой Моравии, с миссией Кирилла и Мефодия. Книга, адресованная и специалистам, и широким кругам читателей, делает достоянием всего словацкого общества результаты научной разработки проблем Великой Моравии.

Многие положения М. Кучеры дискуссионны. Так, по его мнению, центром державы Само была крепость на территории современной Братиславы. После распада державы как политического организма сохранявшийся континуитет населения на этой территории позволяет предполагать определенную преемственность между державой Само и Нитранским княжеством, которое автор называет «первым словацким государственным образованием». Присоединение его в 833 г. к Моравии М. Кучера расценивает как военный захват моравским князем Моймиром соседнего самостоятельного княжества. Предшествовавший этому моравско-словацкий дуализм был результатом племенных и исторических различий двух групп славян — моравян и словаков. Однако соединение этих двух княжеств, положившее начало чехословацкой государственности, было исторически прогрессивным симбиозом (s. 74).

В свете новейших археологических находок вызывает интерес утверждение автора о болгарском присутствии в Потисье и Трансильвании в IX в. (s. 105, 187). В книге отмечается, что защита Ратиславом отчужды от агрессии франков встречала поддержку крестьянства (s. 105). Этой политической концепции защиты

противостояла новая политическая программа князя Светоплука (именно так по-словацки произносится это имя), ориентированная на расширение государства и укрепление его внутренней структуры. Поэтому автор снимает со Светоплука традиционные обвинения в предательстве, в переходе на сторону франков (s. 107).

М. Кучера считает Великую Моравию раннефеодальной монархией (s. 187), рассматривая ее отношения к Римской империи как вассальную зависимость не от Восточно-франкского королевства, а от империи — христианского политического универсума (s. 191), в котором Великой Моравии благодаря Светоплуку удалось получить «тотальный суверенитет» (s. 199, 201, 219). Период правления Светоплука — вершина государственного развития Великой Моравии (s. 220).

В главе о Кирилле и Мефодии фактический материал и существующие в науке интерпретации поданы объективно, без излишней полемической заостренности. Есть ряд интересных новых наблюдений. По мнению автора, причиной неприязни моравской знати к Мефодию было то, что он по византийскому образцу, в отличие от франкской церкви, не признавал прав дарителя вмешиваться в дела подаренного им церкви владения и жестоко карал за грехи, вмешивался в светскую жизнь, тогда как франкское духовенство ограничивалось небольшими штрафами за отступление от норм христианской морали (s. 197—198). Объясняя до сих пор спорный вопрос о поездке Мефодия в Византию в 881—882 гг., автор называет ее мостом в попытке Константинополя и Рима преодолеть свою разногласия в духе экуменизма. Так понимает всю деятельность Кирилла и Мефодия и современное движение экуменизма.

Причиной падения Великой Моравии М. Кучера считает глубокий внутренний кризис, дезинтеграцию, которые сов-

пали с пришествием мадьяр (s. 232, 234). Однако падение державы не было национальной катастрофой для словаков. «Они стали частью многонационального венгерского государства, которое... сохранило многое из экономических достижений и государственной организации великоморавского общества, но... ликвидировало политическое и культурное представительство словаков», что задержало их национальное развитие (s. 234).

Главный вывод работы состоит в том, что период от возникновения державы Само до падения Великой Моравии — не эпизод в истории словацкого народа,

ибо тогда был заложен фундамент национального развития словаков (s. 235).

При всей односторонности рассмотрения истории Великой Моравии лишь со словацкой точки зрения работа М. Кучеры является на сегодняшний день последним обобщающим трудом на эту тему в чехословацкой историографии. Книга богато иллюстрирована произведениями современных словацких художников на великоморавскую тему, что перекидывает живой мост между началом словацкой истории и современностью.

Мельников Г. П.

J. V. A. FINE Jr. The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, 1987, 683 p.

Д. В. А. ФАЙН МЛ. Позднесредневековые Балканы. Критический обзор от XII в. до Османского завоевания.

Названная книга профессора Мичиганского университета Джона В. А. Файна мл. (США), автора монографии «Боснийская церковь: новая интерпретация» (Нью-Йорк, 1975) и статей по истории средневековой Боснии, является продолжением изданного им ранее труда по раннесредневековому Балканскому региону (Ann Arbor, 1983). В рецензируемой работе, территориальные рамки которой охватывают современную Югославию, Болгарию и Грецию (в известной мере — также европейскую Турцию, поскольку автор рассматривает историю Византии), проблематика «позднесредневекового» балканского политического строя включает, таким образом, процессы, происходившие в феодальном обществе Сербии, Болгарии, Боснии, Хорватии, Византии (и в том числе — в Латинской империи, отчасти Никейской империи), Албании. Следовательно, автор оставляет за пределами Балканского региона Валахию, Молдавское княжество, хотя иногда при оценке тех или иных военно-дипломатических событий он привлекает и материал по их истории, равно как и касается порой положения в Венгерском королевстве и позиции Венеции и Венгрии по отношению к отдельным балканским странам и государствам. Файн использовал многочисленные средневековые источники и обширную литературу (работы медиевистов балканских стран, ученых СССР, труды, изданные в Западной Европе и в США), обратив главное внимание на анализ внешнеполитической динамики, на отношения различных балканских и соседних держав (с конца XII и вплоть до середины

XV в.), хотя в тех или иных случаях он дает также сжатую характеристику социально-экономических отношений на Балканах, проблем церкви и культуры (например, им выделены специальные параграфы для изложения постановлений Законника сербского царя Стефана Душана, для оценки положения сербских крестьян в середине XIV в., для трактовки роли так называемой «боснийской церкви», рассмотрения материалов и исследований о византийских крестьянах во Фракии и Македонии и т. д.). В соответствии с таким общим замыслом книга разделяется на десять глав, отвечающих отдельным хронологическим отрезкам. В первой главе («Балканы в конце XII в.») автор повествует о возникновении новых Сербского и Болгарского государств (под эгидой соответственно Немани и братьев Асеней), об отношениях их с Византией, кратко касаясь положения в Боснии и Хуме (ныне Герцеговина), Хорватии и Албании. Мы находим здесь также рассказ и о событиях в этих землях в начале XIII в. Во второй, третьей и четвертой главах («Четвертый крестовый поход и его последствия», «Первая половина XIII в.» и «Вторая половина XIII в.») описывается сложная борьба на Балканах после завоевания Константинополя крестоносцами (1204), распада Византийской империи и образования «латинских» государств. Пятая глава («Балканы в конце XIII в.») посвящена анализу позиций Сербии, Болгарии и Византии (отчасти Боснии) с 80-х годов XIII в. до начала 30-х годов XIV в. Период недолговременного усиления Сер-

бии при Душане рассмотрен в шестой главе («Балканы в середине XIV в.»). Бурные события начавшейся османской экспансии в Европе освещены в седьмой главе («Балканы от смерти Душана в 1355 г. вплоть до кануна Косовской битвы 1389 г.»), а в следующей автор дает широкий обзор положения в завоеванных османами и еще независимых государствах этого региона в конце XIV в. Книгу завершают девятая («Балканы в начале

XV в.» — вплоть до начала 40-х годов) и десятая главы («Балканы на закате XV в.»). В последней рассказано о завоевании османами Сербии, Боснии, Албании, о восстании Скандербега, битве под Варной (1444). Книга снабжена указателем балканских правителей, глоссарием, списком главных источников и библиографией.

Наумов Е.

А. М. ПОПОВСЬКИЙ. Мова фольклору та художньої літератури південної України ХІХ—початку ХХ століття. Дніпропетровськ, 1987, 83 с.

А. М. ПОПОВСКИЙ. Язык фольклора и художественной литературы южной Украины ХІХ — начала ХХ века

Книга состоит из «Вступительных замечаний», шести разделов и «Условных сокращений». Первый раздел «Значение фольклора Южной Украины в становлении норм литературно-национального языка» насыщен богатым фактическим материалом, позволившим автору по-новому взглянуть на отношения между речевой народнопоэтической практикой данного региона и совершенствованием общенациональной украинской языковой нормы. А. М. Поповский убедительно доказал, что упомянутая практика существенным образом повлияла на процесс нормирования и стилистического обогащения современного украинского литературного языка. Гораздо слабее было влияние на этот процесс со стороны регионального литературно-художественного языкотворчества, о чем говорится во втором разделе «Значение писателей Южной Украины в формировании языково-литературной нормы». И все же, подчеркивается в монографии, его нельзя сбрасывать со счетов, ибо с ним связаны некоторые исключительно важные явления в южноукраинской лингвистической ситуации ХІХ — начала ХХ вв., в частности такие, как украинско-русское и украинско-белорусское языковое взаимодействие на лексическом и фразеологическом уровнях.

Третий раздел «Алфавитный указатель писателей ХІХ — начала ХХ ст. южноукраинского региона» включает в себе краткие библиографические сведения о 74-х авторах, чье творчество имеет пря-

мое отношение к исследуемым проблемам. Эта часть труда А. М. Поповского представляет особый интерес в виду ее познавательной ценности. Здесь находим данные не только об известных писателях (М. Вороний, И. Карпенко-Карый, М. Кропивницкий, И. Манжура, Д. Яворницкий), но и о тех, жизнь и произведения которых в настоящее время по разным причинам оказались почти забытыми (В. Алешко, О. Василенко, М. Жук, Г. Кернеренко, И. Липа, Т. Осадчий, П. Перекидько, Т. Романченко и др.). К указателю прилагается карта с обозначением мест проживания всех перечисленных литераторов.

«Язык драматических произведений Г. М. Бораковского», «Язык произведений Т. А. Зиньковского», «Язык произведений М. Пулевича» — названия соответственно четвертого, пятого и шестого разделов книги, где дается подробный анализ лексических, фразеологических, фонетических и грамматических особенностей языка тех южноукраинских писателей, художественное мастерство которых по отношению к избранной автором теме является наиболее показательным.

Исследование А. М. Поповского достойно внимания не только лингвистов, но и литературоведов, историков, фольклористов, а также этнографов. Приходится лишь сожалеть, что такая нужная книга вышла мизерным тиражом (500 экземпляров) и уже успела стать библиографической редкостью.

Чабаненко В. А.



ЮБИЛЕЙ ВУКА КАРАДЖИЧА В СССР

Исполнилось двести лет со дня рождения прославленного сербского ученого и писателя, корифея национальной культуры Вука Стефановича Караджича (1787—1864). Его исторические заслуги — основание нового, питаемого народной речью литературного языка с совершенной графикой и практичной орфографией, выявление и публикация фольклорных сокровищ, этнографическое описание сербского народа и свидетельское освещение его освободительной эпопеи — стали знаменем национального возрождения югославянских народов, составными компонентами культурной революции у сербов.

Двухсотлетие Караджича отмечалось в течение всего 1987 г. в Югославии и, в соответствии с решением ЮНЕСКО, во всемирном масштабе. В нашей стране, с которой Караджич был связан тесными узами и слависты которой так много сделали и делают для изучения и осмысления его творческого наследия, юбилею Вука были посвящены научные сессии и собрания, лекции в университетах и доклады в студенческих научных кружках, разнообразные публикации и документальный кинофильм.

23—25 апреля в г. Ленинграде состоялся представительный юбилейный симпозиум, организованный ЛГУ и Ленинградским отделением Научного совета АН СССР по комплексным проблемам славяноведения и балканистики. В нем участвовали слависты из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Львова, Одессы, Тарту, Петрозаводска, Караганды, Самарканды и других научных центров, югославские филологи — профессора Белградского университета Й. Деретич и М. Сибинович, а также работающие в университетах СССР преподаватели (лекторы) сербохорватского языка Б. Тошович, М. Чаркич и Б. Попов.

Программа трехдневного симпозиума содержала около сорока докладов и сообщений о различных аспектах деятельности Вука Караджича, о значении его лите-

ратурно-языковых преобразований и судьбе его начинаний. В двух выступлениях был дан аналитический обзор изучения творчества Вука в России и СССР (П. А. Дмитриев и Г. И. Сафронов) и в Югославии (Г. П. Попова). Историческая миссия Караджича в развитии культуры и науки, международное значение его трудов и инициатив анализировались в докладах: «К. Маркс, Ф. Энгельс и творчество Вука Караджича» (В. М. Мокиенко), «Вук Караджич и украинская культура» (М. Я. Гольберг), «Реформа Караджича в общеславянском контексте» (Й. Деретич), «Влияние языковой реформы Вука Караджича на формирование и кодификацию македонского литературного языка» (Р. П. Усикова), «Крижанич и Караджич: поиски метаязыковых решений» (А. Д. Дуличенко), «Литературно-языковая реформа Караджича в трактовке А. Н. Пыпина» (В. П. Гудков).

Результаты исследований языка и стиля сочинений сербского филолога, процессов развития нового литературного языка излагались в докладах: «Вук Караджич и закономерности сербохорватского словообразования» (А. К. Смольская), «Словарь Караджича и проблемы развития языка науки и просвещения» (В. Е. Моисеенко), «Влияние реформы Караджича на изменение системных связей в сербской отвлеченной лексике» (Г. Г. Тяпко), «Стиль полемики Караджича» (Б. Тошович), «Эпистолярный стиль Караджича» (М. Чаркич), «О некоторых синтаксических особенностях Вукова перевода Нового Завета» (В. Н. Зенчук), «Народная лексика в словаре Караджича» (С. В. Зайцева), «Аргументативы в словаре Караджича» (М. П. Киршова), «Лингвистическая аргументация Вука Караджича в борьбе за национальные основы литературного сербохорватского языка» (Б. И. Крицкий).

Рассматривался вклад Караджича в фольклористику, оценивалась его роль в истории сербской литературы. Это нашло выражение в докладах: «Новое изда-

ние песен из собрания Караджича» (В. Е. Гусев), «Вук Караджич и романтизм сербской литературы» (Р. Ф. Дорошина), «Вук Караджич и зарождение сербского исторического романа» (Н. А. Непорожня), «Сербская литературная традиция в свете Вуковой концепции перевода» (М. Сибинович).

Ценная информация о творческих связях Вука с его современниками была сообщена в докладах: «Вук Караджич и М. Ф. Раевский» (И. В. Чуркина), «Автографы Караджича в Публичной библиотеке» (С. О. Вялова), «Караджич и армянская типография в Вене» (А. А. Овакимян), «Вук Караджич и Фран Левстияк» (М. Л. Бершадская).

По количеству участников и достойному научному уровню большинства выступлений ленинградский симпозиум стал весьма репрезентативной научно-юбилейной сессией. Представленные доклады обогатили языковедение, науку о литературе и историю культуры, продемонстрировали непреходящую актуальность творческого наследия великого сербского ученого.

За симпозиумом в ЛГУ последовала ежегодная конференция Московского университета «Ломоносовские чтения», в рамках которой В. П. Гудков выступил с докладом «Вук Караджич — реформатор сербохорватского литературного языка», осветив предпосылки, содержание и результаты литературно-языковых преобразований Караджича.

Сосдиненными усилиями Московского университета, Института славяноведения и балканистики АН СССР и Союза писателей СССР в ознаменование 200-летия со дня рождения Караджича 23 ноября

во Дворце культуры МГУ проведено торжественное заседание. «Слово о Караджиче», произнесенное на нем акад. АН СССР, проф. МГУ Н. И. Толстым, сохранило образную характеристику личности великого серба, обзорные его достижений и заслуг, оценку связей Вука с русскими и Россией. Караджич, сказал Н. И. Толстой, преобразовал на народноречевой основе литературный язык и открыв миру богатства сербского фольклора, стал одним из ведущих деятелей славянского национального возрождения, наряду с чехом Юнгманом, словаком Колларом, хорватом Гаем и другими, а его творчество и идеи своим гуманизмом и подлинной народностью остаются созвучными и нашей созидательной эпохе.

На торжественном заседании выступили также писатель Ю. М. Лоциц, профессор Белградского университета Д. Гортан-Премк и студентка МГУ О. Бочарова. В фойе была развернута выставка книг Караджича и трудов о нем из фондов библиотеки МГУ.

В симпозиуме и в заседаниях, проводившихся в нашей стране в связи с юбилеем Караджича, участвовали соотечественники Вука — сербские филологи, а также дипломатические представители — сотрудники посольства СФРЮ в СССР. В свою очередь, советские слависты (Н. И. Толстой, Т. П. Попова, М. П. Киршова, В. П. Гудков и другие) приняли участие в широкомасштабной международной конференции «Вук Караджич и его творчество — в прошлом и в наши дни», состоявшейся 14—19 сентября в Белграде и Нови Саде, и в юбилейных торжествах на родине Вука — в сербском селе Тршич.

Гудков В. П.

ВЫЕЗДНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ПАМЯТИ И. И. СРЕЗНЕВСКОГО

28 мая 1987 г. на теплоходе «Григорий Пирогов» собрались участники необычного по форме научного мероприятия — выездной сессии, посвященной 175-летию со дня рождения известного русского ученого Измаила Ивановича Срезневского (1812—1880). Инициаторами и организаторами юбилейного торжества выступили Институт русского языка АН СССР (ИРЯ), Институт славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) и МГУ.

Участниками сессии были не только ученые — филологи, историки, фольклористы, — но и писатели, музейные работ-

ники, учителя, представители других профессий, школьники.

Чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев (ИРЯ) высоко оценил вклад И. И. Срезневского в отечественную науку, традиции, заложенные им в развитие многих направлений современных исследований: русской и славянской филологии, фольклористики, истории, палеографии, археологии, педагогики, что сделало незабвенным имя ученого для новых поколений специалистов разных отраслей науки, сближая их между собой и вдохновляя на комплексные исследования. Д-р

филол. наук Г. А. Богатова (ИРЯ) в докладе «Жизнь и деятельность И. И. Срезневского. Лексикографические идеи. Лексикографические труды (к 75-летию „Материалов для словаря древнерусского языка по памятникам письменности“») осветила основные события научной биографии ученого, показав его высокие моральные качества как человека и гражданина. Г. А. Богатова охарактеризовала принципы, выработанные Срезневым для словаря — главного труда его жизни, которые сохранили свое значение и для современного исследователя, являются основополагающими в отечественной лексикологии и лексикографии. Ярким подтверждением этого является новое фототипическое переиздание словаря, которое готовится сейчас в издательстве «Книга». Канд. ист. наук М. Ю. Досталь (ИСБ) в докладе «И. И. Срезневский как историк-славист» осветила такую еще малоизученную и недооцененную область исследований ученого как история славянских народов. Она показала прогрессивный характер для 40—50-х годов XIX в. главных принципов романтической историографии, отстаиваемых им в лекционных курсах по славистике, прочитанных в Харьковском и Петербургском университетах и Главном педагогическом институте. По мнению автора, И. И. Срезневский был также одним из зачинателей историографии отечественного и зарубежного славяноведения в России. Канд. филол. наук Т. А. Сумникова (ИРЯ) продолжила тему о значении лексикографических трудов ученого, рассказав о принципах составления 10-томного «Словаря древнерусского языка (XI—XIV вв.)», являющегося прямым продолжением и развитием на основе достижений современной науки его знаменитых «Материалов», составленных по памятникам тех же столетий. Новый словарь — плод многолетней работы коллектива ученых ИРЯ АН СССР — уже подготовлен к печати и выйдет в издательстве «Русский язык» в 1988—1997 гг.

Д-р филол. наук С. С. Волков (ЛГУ) рассказал о подготовке в Ленинграде итоговой Всесоюзной конференции «Методология и методика историко-словарных исследований, историческое изучение славянских языков, славянской письменности и культуры» (к 175-летию со дня рождения академика И. И. Срезневского). Д-р филол. наук О. С. Широков (МГУ) показал роль некоторых идей И. И. Срезневского для развития индоевропейского сравнительно-исторического

языкознания, а канд. филол. наук Г. И. Рапова (МГУ) охарактеризовала классический труд ученого «Мысли об истории русского языка» (1849) в контексте идей отечественной лингвистики. Д-р филол. наук П. Н. Денисов (ИРЯ) рассказал о подготовке Словаря языка В. И. Ленина и принципах его создания, а д-р филол. наук В. Б. Силина (ИРЯ) — о говоре села Деулино Рязанской области и словаре этого говора, изданном в 1969 г.

29 мая в Доме общества «Знание» г. Рязани состоялось торжественное заседание, посвященное юбилею И. И. Срезневского, при участии Рязанского государственного пединститута и Рязанского филиала Московского института культуры. На нем выступили: д-р филол. наук Н. А. Кондрашов (МОПИ), который рассказал о научно-педагогической деятельности ученого; д-р филол. наук В. Я. Дерягин (МГИАИ) призвал всех присутствовавших поставить свои подписи под письмом участников выездной научной сессии в исполком рязанского городского совета народных депутатов с предложением об увековечении памяти Срезневского в г. Рязани — присвоении его имени одной из новых улиц и школ города; писатель К. Б. Раш напомнил об актуальности некоторых педагогических идей Срезневского; канд. филол. наук В. П. Гребенюк (ученый секретарь МКС) сообщил о предстоящем в сентябре 1988 г. в Софии X Международном съезде славистов, где тоже будет отмечаться юбилей ученого, а одно из заседаний Комиссии по лексикологии и лексикографии будет специально посвящено его памяти. Приятным сюрпризом для участников заседания была демонстрация документального фильма «Встреча», созданного совместно кинематографистами ГДР и СССР (режиссер Т. Брук, автор сценария Ю. М. Лошиц, научный консультант Г. А. Богатова). Фильм повествует о научных связях и дружбе И. И. Срезневского с выдающимся деятелем серболужицкого национального возрождения Я. Э. Смолером. Здесь же был показан фильм о IX Международном съезде славистов в Киеве (1983).

Ранний подъем, дождь и дальняя дорога (автобусом и маленьким теплоходом) не охладили желания многих участников необычного рейса отправиться 30 мая в село Срезнево, расположенное на крутом живописном берегу реки Оки, где похоронен И. И. Срезневский. Местные школьники взяли шефство над его могилой: аккуратная ограда, на постаменте

алеют тюльпаны; гости покрыли могилу ярким ковром из сирени, тюльпанов и гвоздик. Много теплых слов было сказано о заслугах Срезневского в деле отечественной науки и просвещения на митинге его памяти у могилы. Здесь выступили: д-р филол. наук Б. П. Кирдан (МГПИ), д-р филол. наук П. Н. Деписов, д-р филол. наук Л. С. Кишкин (ИСБ), д-р филол. наук О. А. Черепанова (ЛГУ), ученица 1-й средней школы п. Шилово С. Винокурова, д-р ист. наук И. В. Чуркина (ИСБ), канд. филол. наук Л. В. Чекурин (РФМФИ), писатель Л. С. Черепанов.

Вечером 30 мая на теплоходе состоялось последнее заседание сессии, посвященной И. И. Срезневскому, которое оказалось одним из самых интересных. Д-р филол. наук Б. П. Кирдан увлекательно рассказал об истории создания учебным сборником «Запорожская старина» и о научных спорах относительно подлинности помещенных там некоторых украинских дум. Он поделился результатами сопоставительного анализа этого сборника, составленного, по его мнению, в соответствии с понятиями науки своего времени. Д-р филол. наук О. А. Черепанова охарактеризовала материалы по истории славянского язычества в работах Срезневского, наглядно показав плодотворность некоторых высказанных им идей (например, о календарном характере культов славянских языческих божеств) для современных исследований по славянской мифологии, а также важность для них архаичной лексики его

«Материалов для словаря древнерусского языка». Канд. филол. наук Ю. И. Смирнов (ИСБ) интересно рассказал о научных связях сербского ученого и общественного деятеля Вука Караджича с русским ученым и о непреходящем значении составленной им первой биографии знаменитого серба, опубликованной в 1846 г. В дополнении к программе сессии д-р филол. наук А. В. Широкова (УДН) поделилась своим опытом реконструкции диалектного членения романских языков, а д-р филол. наук В. Я. Дерягин сообщил о современных переводах и толкованиях древнерусских текстов. На «беседах круглого стола» в музыкальном салоне вне программы сессии выступали д-р ист. наук публицист А. Г. Кузьмин (журнал «Наш Современник») и писатель Л. С. Черепанов, участник съемок фильма «Таежные робинзоны» о семье старообрядцев Лыковых. Главный архитектор реставрации дома-музея Ф. И. Шаляпина Г. А. Духапина интересно рассказала о печеской династии Пироговых, именем одного из которых, Григория, назван теплоход.

Думаю, что это увлекательное теплоходное путешествие надолго запомнится всем, а ученым, принимавшим в нем участие, оно помогло лучше узнать друг друга, обсудить в непринужденной обстановке многие актуальные проблемы науки. Хотелось бы надеяться, что эстафета проведения неформальных научных мероприятий будет подхвачена другими.

Досталь М. Ю.

V СИМПОЗИУМ «БЕЛОРУССКО-БОЛГАРСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»

Встречи лингвистов Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина и Софийского университета им. Климента Охридского, организуемые в рамках научного и культурного сотрудничества двух университетов, проводятся попеременно в Минске и Софии. Нынешний, пятый, симпозиум «Белорусско-болгарские языковые параллели» проходил с 22 по 26 сентября 1987 г. в столице Белоруссии. В его работе приняли участие и специалисты из Института языкознания им. Я. Коласа АН БССР. На заседаниях было прослушано 29 докладов.

Большое внимание на симпозиуме было

уделено анализу языковых особенностей книг выдающегося просветителя Франциска Скорины, 500-летний юбилей которого будет отмечаться в недалеком будущем. Различные стороны языка Ф. Скорины рассматривались в докладах А. Е. Супруна (БГУ) — «К проблеме старославянизмов в белорусском. Рефлексы *dj, *tj у Ф. Скорины», Л. М. Шакуна (БГУ) — «Южнославянское и народно-разговорное в языке Ф. Скорины», Г. А. Цыхуна (АН БССР) — «Южнославянский компонент языка Франциска Скорины», Н. Б. Мечковской (БГУ) — «Филологическая проблематика предисловий

в изданиях Ф. Скорины». Сопоставление языка книг Ф. Скорины и Климента Охридского было проведено в докладе М. А. Муталимовой (БГУ). Значение деятельности Ф. Скорины для всего славянского мира было раскрыто М. Младеновой (СУ) в докладе «Роль Ф. Скорины в межславянских языковых связях».

Палеославистическая проблематика отражена и в докладе А. А. Кожиповой (БГУ), где был проведен семантический анализ проповедей Климента Охридского и Кирилла Туровского. Количественно-статистическая методика исследования древнеславянских текстов была использована в докладе Е. Сурковой и Я. Л. Трёмбовольского (БГУ) «О нетрадиционных подходах к анализу текстов древнеславянских памятников».

Различные аспекты историко-типологического изучения белорусского, болгарского, а также русского языков рассматривались в докладах Н. Ивановой (СУ) — «Типологическая характеристика языковых ситуаций в эпоху Просвещения у восточных и южных славян», Д. Станишевой (СУ) — «Семантика предлогов в перспективе исторического развития и их типологическая характеристика в болгарском, белорусском и русском языках», С. Стойчева (СУ) — «Некоторые моменты развития *nt*-основ в болгарском и белорусском языках», Б. Ю. Нормана (БГУ) — «К эволюции звательной формы в болгарском, белорусском и русском языках». Интересный опыт систематизации белорусских и болгарских обрядовых комплексов был предложен в докладе Н. П. Антропова (БГУ).

Проблемы лексико-семантических соответствий в белорусском и болгарском языках затрагивались в выступлениях В. В. Мартынова (АН БССР) — «О правомерности генетического соотнесения болг. *як* и белор. *нагелы*», Н. В. Ивашиной (БГУ) — «Названия Плеяд в белорусском и болгарском языках», Л. Р. Супрун (БГУ) — «Белорусские и болгарские наименования облаков и туманов на общеславянском фоне», Е. Н. Руденко (АН БССР) — «Сравнение болгарских и белорусских глаголов воображения». Доклад Г. И. Шевченко (БГУ) был посвящен вопросам появления и функционирования мифологизмов в белорусском и болгарском языках. На

необходимость учета «культурного фона» при определении семантики некоторых групп лексем (названий цветов, деревьев и т. д.) указывалось в докладе В. В. Макарова (БГУ). Связь между словообразовательной структурой и семантикой русских слов при восприятии их болгарами была выявлена в докладе Л. Б. Адудкевич (БГУ). На материале белорусского и болгарского языков Б. А. Плотников (БГУ) раскрыл сущность и обосновал плодотворность использования в исследованиях по лексической типологии такой абстрактной сконструированной единицы, как слово-эталон.

Некоторые общие и специфические черты белорусской, болгарской и русской грамматических систем нашли отражение в докладах В. А. Карпова (БГУ) — «Общность и специфика конструкций с инфинитивом в русском и белорусском языках при их передаче на болгарском», Я. Бычварова (СУ) — «Коннекторы „довыражения“ в болгарском и белорусском языках». Структурно-семантические особенности болгарских *da*-конструкций в их соответствии в белорусском языке были рассмотрены в докладе А. М. Калюты (БГУ). Анализ функционирования наречий с темпоральным значением в болгарском и белорусском языках был представлен в докладе М. Виларовой (СУ).

Результаты контрастивного изучения некоторых фонетических явлений белорусского и болгарского языков были отражены в сообщениях И. Гугулановой (СУ) — «Автоматические чередования ударных и безударных гласных в болгарском и белорусском языках» и В. Б. Журавля (БГУ) — «О редукции гласных в белорусском и болгарском языках».

Вопросы методики преподавания белорусского языка болгарами затрагивались в докладах И. М. Щербаковой (БГУ) — «О сопоставительных основах преподавания фонетики белорусского языка» и И. Г. Шкрабы (БГУ) — «Методические основы преподавания белорусской лексики болгарским студентам».

На заключительном заседании симпозиума его участники приняли резолюцию, в которой были подведены итоги работы и определены дальнейшие направления совместных болгарско-белорусских исследований.

Журавель В. Б.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СВЯЗИ ЛИТОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ЛИТЕРАТУРАМИ СССР И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

1 и 2 октября 1987 г. в Вильнюсском Государственном Университете им. В. Капсукаса проходил форум литературоведов, посвященный 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Не случайно Литва, Вильнюс, Вильнюсский университет стали местом встречи ученых, заинтересованных в изучении живого диалога многих народов и культур, происходившего в течение столетий, а ныне получившего характер сотрудничества. Культура Вильнюсского края испокон веку творилась совместными усилиями литовцев, поляков, белоруссов, русских. Вильнюс стал связующим звеном между восточными и западными славянами, посредником между западноевропейской и русской культурными традициями.

Большинство докладов, прочитанных на пленарном заседании и во время работы трех секций, объединены общей тематикой: литовская культура и славянский мир (см. [1]).

В осмысление этой темы большой вклад внесла представительная делегация ученых из ПНР во главе с проф. Б. Бялокозичем (Институт славяноведения ПАН). В докладе прозвучало принадлежащее Бодуэну де Куртене определение «территориального патриотизма под лозунгом равноправия всех разноязычных граждан общей отчизны..., общего стремления к деятельности на благо ее». Это понятие можно отнести не только к Польше и Литве в определенный исторический период, оно как нельзя лучше характеризует стремление народов СССР к общему культурному строительству. Бодуэн де Куртене в сложных политических условиях Российской империи был борцом за сохранение и популяризацию литовского языка и фольклора, именно в этом виде залогом независимости народа.

Конференция отразила различные аспекты историко-литературных изысканий. Литовская культура рассматривалась здесь начиная с XV—XVI вв., когда Вильнюс был не только политическим центром большого государства, но и оживленным очагом культуры на северо-востоке Европы (Г. Забулис, ВГУ, «Культурная среда Михалона Литвина»). Белорусско-литовские летописи, написанные на старобе-

лорусском языке, (в частности, хроника Быховца), изучались как ранние письменные свидетельства литовско-славянской культурной общности (А. Йовайтас, ВГУ, «Литовские аспекты хроники Быховца»). Наряду с польско-литовскими наибольшее внимание ученых вызвали литовско-белорусские литературные связи. Это можно объяснить «феноменом общественно-культурного родства белорусов и литовцев» (Л. Тарасюк, БГУ, «Вильнюс в белорусском историко-литературном контексте») со времен Великого княжества Литовского. Наиболее ярким выражением этого родства явилась тридцатилетняя вильнюсская деятельность Ф. Скорины. Сама личность великого гуманиста как бы символизирует животворность культурных взаимовлияний двух народов, ибо духовную мощь и энергию в противоборстве с мрачными силами средневековья Ф. Скорина черпал в чувстве принадлежности к народным низам — «посполству» вильниин (О. Лойко, БГУ, «Скорина в Вильнюсе»; А. Кавко, Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР, «„Люди посполитые“ в социальном контексте Великого княжества Литовского времен Ф. Скорины»). Наиболее патристически настроенные «люди посполитые», которым и адресовал свои книги Скорина, частью состояли из посителей литовского языка, что придает интернациональный аспект культурной деятельности белорусского первопечатника.

Литовско-украинские литературные связи, завязавшиеся в процессе совместной борьбы литовских и украинских деятелей культуры против самодержавия и национального угнетения (Н. Зиморя, Ужгород; И. Оставик, Львов), на современном этапе характеризуются «проникновением одной литературы в духовный мир другой» (Т. Пушкаренко, Киевский ун-т), выработкой определенных «элементов межнациональной образности» (К. Фролова, Днепропетровский ун-т).

Эпоха наиболее интенсивных польско-литовских связей приходится на XIX — начало XX в. И хотя история их изучения имеет большие традиции, проф. Л. Язукевич-Оселковска (Ин-т славяноведения ПАН) в своем докладе ставит задачу воссоздания целостной картины

польско-литовского культурного сотрудничества на основе многочисленных историко-литературных исследований.

«Точки соприкосновения» литовской и польской литератур многочисленны и представлены именами В. Сырокомли, вильнюсского поэта, своими стихами подерживавшего повстанческие пасторсии (П. Лавринец, ВГУ), Ю. И. Крашевского, написавшего исследование по истории Литвы (М. Недзвецкая, Вильнюсский пединститут), Я. Ивашкевича, поддерживавшего дружеские связи с А. Венцловой и Э. Межелайтисом (А. Туркевич, Вильнюсский пединститут). Однако ярчайшим символом польско-литовской литературной близости является имя А. Мицкевича, польского поэта, учившегося в Вильнюсском университете, черпавшего в истории и фольклоре края многие мотивы своего поэтического творчества и называвшего себя литвином с точки зрения принадлежности к культурно-исторической традиции (Р. Микшите, Ин-т литовского языка и литературы). Именно через Мицкевича Литва и литовская тематика, иногда в ее связях со славянской, как это было, например, у Мерице, который к литовскому фольклору пришел через славянский, нашли свой путь в мировую литературу (см. доклады И. Варнайте, ВГУ и Э. Кирнозе, Горьковский ун-т). Место, которое великий польский поэт занял в литовской и белорусской культурах, символизирует способность истинной поэзии преодолеть политико-идеологические, языковые преграды.

Особенное внимание исследователей привлекают те деятели культуры, творческие корни которых «полинациональны». Речь идет в первую очередь о Ю. Балтрушайтисе (доклады В. Даулетис-Пакерене, ВГУ; Т. Саськовой, МГУ; Б. Мержвинските, ВГУ; Л. Спротге, Латвийский ун-т) как об уникальном явлении в истории литовской и русской литератур, а также о М. К. Чюрлёнюсе (Л. Михнева, Вильнюс), литовском композиторе и художнике, творческий метод которого несет на себе печать русской поэтической традиции начала XX в.

Если в докладах польских, белорусских, украинских филологов преобладала историко-литературная тематика, то русско-литовские литературные связи были осмыслены в теоретико-философском аспекте и затрагивали в большей степени современную литературу. В докладе

А. Я. Эсалнек (МГУ) содержится обоснование теоретико-типологического метода определения общности и национальной специфики литератур. Доклады секции русско-литовских литературных связей представляют особый интерес как осмысление типологической близости контрапунктно (термин В. Бузник) развивающихся литератур с глубокими традициями и ярко выраженной национальной спецификой.

Во взаимодействии русской и литовской литератур ярко проявляется проблематика балто-славянских культурных взаимоотношений, которые начинаются на уровне фольклора (Н. Митропольская, ВГУ). Следы этих взаимовлияний сохраняются и в литературном творчестве вплоть до современного этапа. Для их изучения Е. Костиным (ВГУ) предлагается понятие этнотрадиции как «силового поля» национального мироощущения, национальной образности.

Внимание литературоведов, принявших участие в работе конференции, вызвали вопросы рецепции произведений литовских писателей и поэтов. В докладе польского профессора Ф. Неуважного (Варшавский ун-т) «Судьбы литовской литературы в народной Польше» содержится развернутая картина «прочтения» литовской литературы польскими читателями и критиками. Особенности восприятия литовской литературы в Словакии стали темой сообщения литературоведа из Братиславы М. Куса. Литовский роман «внутреннего монолога» репрезентировал в глазах словацкого читателя всю литовскую культуру в целом, был воспринят как ее своеобразная модель. Получили освещение и проблемы рецепции внутрисоюзного литературного процесса (А. Лапинскене, Ин-т литовского языка и лит-ры, «Литовская литература и белорусская критика»). Актуализация проблем восприятия свидетельствует о новом уровне исследования литературных связей, так как она дает возможность изучить не только типологическую общность, но и национальную специфику как «воспринимающей», так и «воспринимаемой» литератур.

Романчук Е.

ЛИТЕРАТУРА

1. Связи литовской литературы с литературами СССР и зарубежных стран. Тезисы докладов Республиканской научной конференции. Вильнюс, 1987.

13—15 октября 1987 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР прошел симпозиум на тему «Художественные формы и научные идеи. Их становление и развитие в польской и русской культурах XVIII — первой половине XIX в.». Это часть работы, которая ведется в рамках двустороннего сотрудничества «Польская культура и наука XVIII—XIX вв. и польско-русские культурные и научные отношения». Тема симпозиума объединила специалистов нашего Института и Института искусств ПАН, позволила представить на рассмотрение факты из истории культуры, ранее не замеченные или не вовлеченные в круг научного исследования, обратиться к истории, к поэтике, которая, как известно, свидетельствует не только о художественных вкусах эпохи, но и о типе культуры. Соответственно, мир идей XVIII—XIX вв., представления того времени о том, как устроена жизнь, частная и общественная, категории культуры, также предлагалось поставить на обсуждение. Все вопросы, факты, идеи, могли подаваться и подавались в контексте польско-русских и, более широко, польско-восточнославянских культурных связей (или в плане типологии или в плане контактов).

Эти связи, с одной стороны, давно и хорошо изучены. С другой — они могут быть существенно дополнены, что и показал симпозиум. Архивы еще хранят не введенные в научный оборот материалы. Дополнения, сделанные по ним, создают определенную глубину взаимодействия польской и русской культур, прорисовывают контуры общей картины этого взаимодействия. Об этом свидетельствует доклад И. И. Свириды. После долгого и тщательного обследования архивов она представила широкую картину польско-русских художественных отношений в связи с историей художественного образования. К. И. Шамаева (Киев) показала роль польских музыкантов в развитии музыкального образования на Украине. Споеобразию и роли польско-белорусского культурного пограничья в возрождении культуры Белоруссии посвятил свое выступление А. К. Кавко. Очень интересным оказался доклад П. Нашкевича (ПНР) о русской сакральной архитектуре на польских землях. Появившись как следствие государственной политики, православные храмы были не только

знаками власти; помимо сакральной, они имели и эстетическую функцию, которая и исследовалась докладчиком.

И. Ф. Балза решил показать польскую и русскую культуру в зависимости от художественных направлений эпохи, выявить специфичность романтизма на славянской почве. Следует особо отметить стремление известного ученого-слависта затронуть актуальную для современных исследований тему категорий культуры. Об историческом сознании XIX в. в свете романтизма, который трактовался шире, чем художественное направление, говорил В. А. Дьяков. Доклады Д. С. Прокофьевой и Л. А. Софроновой были посвящены доминирующим категориям романтизма в польской и русской культуре: свободы и любви. Д. С. Прокофьева предложила исчерпывающий анализ категории свободы и связанных с ней понятий, выявила их конкретное наполнение и степень символичности. Л. А. Софрова показала, как польские и русские романтики рассматривали категорию любви в философских, теоретико-литературных трактатах, художественных произведениях. Т. Беньковский (ПНР) на материале XVIII в. проследил формирование понятия прогресса, столь важного для XIX в., выделив при этом значение науки.

Проблемы художественной формы, смены эпох — классицизма и романтизма — проектирует на искусство актера К. Вежбицка-Михальска (ПНР). Она проследила особенности формирования актерской школы на рубеже веков и трансформацию типа актера. Я. Покора (ПНР) продемонстрировал умение «читать» произведения ушедших эпох (в данном случае — XVIII в.), наглядно показал, как знание языка культуры способствует раскрытию смысла отдельных произведений искусства, которые на первый взгляд только декоративны. Глава польской делегации Е. Малиновский приоткрыл страницы мало исследованного этапа развития польской живописи, представив в современном теоретическом освещении польский бидермайер. Исследователю удалось выделить различные его типы, вписать пейзаж, историческую и жанровую живопись второй трети XIX в. в ряд предшествующих и последующих событий польского искусства.

Эпоха романтизма немислима без обращения к народному искусству. На симпозиуме

зиуме этот аспект был представлен в докладе Э. Хехлинской (ПНР), которая сумела, отказавшись от стандартного подхода к теме («Идея народности и ее воздействие на польскую музыкальную культуру XIX в.»), выявить не только положительные результаты деклараций романтиков о народности искусства для польской науки о музыке, критики, оперного и симфонического искусства. Как всегда глубокие знания и эрудицию продемонстрировала Л. Н. Виноградова, предложив свою интерпретацию мотива, чрезвычайно распространенного в славянской романтической литературе, мотива русалки; показала его значение и функции в западно- и восточнославянском фольклоре.

Все вопросы, которые ставили участники симпозиума, имеют непосредственное отношение к построению типологии

культур стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Об этом говорил, открывая и закрывая научную встречу В. И. Злыднев. Их рассмотрение, считает он, обогащает науку не только о культуре Польши и России, но и всего исследуемого нами региона.

Темы, которые развивали докладчики, хорошо известные своими трудами, привлекли внимание научной общественности. В живой дискуссии принимали участие как сотрудники ИСБ, так и Института истории искусств.

Московская встреча, хочется думать, прошла удачно. Впереди — научные беседы и споры в Варшаве. На этот раз специалисты объединяются исследованием важной проблемы культуры XIX в. — проблемы взаимодействия искусств.

Софронова Л. А.

* *
*

24 февраля 1988 г. в редакции «Советского славяноведения» состоялась творческая дискуссия по теме «Культура Древней Руси и межславянские культурные связи в процессе христианизации». Во встрече приняли участие ученые Института славяноведения и балканистики АН СССР, других исследовательских центров Москвы, Ленинграда, Калуги, Киева, Минска, а также писатели и представители Русской Православной церкви.

Материалы «круглого стола» будут опубликованы в одном из ближайших номеров журнала.

- Бужарин Н., Wyszomirska-Kuźmińska O.* Polsko-radziecka Współpraca. 1944—1986. Warszawa, 1987, 176 s.
- Великий Октябрь и революции 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Указатель литературы. 1985—1987 / Отв. ред. Калоева И. А.; Сост. Гельман И. П.; АН СССР. ИНИОН. М., 1987, 154 с.
- Всесоюзная конференция «Методология и методика историко-словарных исследований, историческое изучение славянских языков, славянской письменности» (К 175-летию со дня рождения акад. И. И. Срезневского), 26—29 янв. 1988 г. Тезисы докладов. Л., 1988, 154 с.
- Възвезова-Каратеодорова К., Нонева З., Тилева В.* Васил Левски: Документален летопис, 1837—1873. София, 1987, 339 с.
- Грицик М. И.* Развитие фольклористики на западноукраинских землях в 60—70-е годы XIX века: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Минск, 1987, 49 с.
- Доклады / II Междунар. конгр. по българистика. София, 23 май — 3 юни 1986 г. София, 1987. Т. 3. Съвременен български език. / Съст. Огианов Б. 643 с. Текст на болг., фр., нем. и англ. яз.
- Единение народов — единение культур: Украинско-болгарские культурные связи. История и современность. К X Междунар. съезду славистов / АН УССР. Ин-т искусствovedения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рильского, БАН. Науч. объединение искусствovedения. Киев, 1987, 263 с.
- Историографски изследвания «България XV—XIX в.» / Бълг. акад. на науките. Ин-т по история. София, 1987. Т. I. България през XV—XVIII в. 321 с.
- Историческата наука и съвременност / Бълг. акад. на науките. Ин-т по история; София, 1987, 288 с.
- Кестнер И.* Иоганн Гутенберг. Пер. с немецкого, предисловие Я. Д. Исаевича. Львов, 1987, 84 с.
- Литература Древней Руси: Источниковедение. Сб. науч. тр. / Отв. ред. Лихачев Д. С. АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Л., 1988, 312 с.
- Магарашевичев летопис о Вуку и народној поезји / Припремио: Ковачек Б. Нови Сад, 1987, 201 с.
- Материалы по русско-славянскому языковедению: (Лит. яз., диалекты, яз. фольклора). Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 1988, 166 с.
- Митев Т., Крапиевн А.* Съветският принос в изучаването на българското революционно работническо движение от края на XIX и началото на XX век. София, 1987, 193 с.
- Поскова А. Ф.* Крестьянское политическое движение в Польше, сентябрь 1939 — весна 1948 г. М., 1987, 316 с.
- Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя треть XIV — начало XIX в.) / АН МССР. Ин-т истории им. Я. С. Гросула. Кишинев, 1987, 464 с.
- Пон Ю. И.* Чешско-русские и словацко-русские связи в XIX — начале XX вв. в освещении чехословацких исторических журналов (1950—1973 гг.). Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 32878 от 23.02.88 / 1.31 Д.
- «Руська трийця» в історії суспільно-політичного руху і культури України / Відповід. ред. Ф. І. Стеблій. Київ, 1987, 338 с.
- «Сербскія пьсни» Александра Востокова / Уводна расправа и комент. Маројевичу Р. Горњи и Милановац, 1987, 205 с.
- Социалистическое содружество и проблемы отношений Восток — Запад в 80-е годы. М., 1987, 296 с.
- Супрун-Белевич Л. Р.* Метеорологическая лексика в славянских языках: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Минск, 1987, 20 с.
- Творческая интеллигенция и мировой революционный процесс: Идеино-эстетическая эволюция художников-гуманистов XX в. / Отв. ред. Балашова Т. В., Шерламова С. А. М., 1987, 524 с.
- Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / Отв. ред. Чистов К. В. М., 1987, 557 с.
- Anton K. G.* Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse: 1. Tell, 2. Tell / Mit einer. Vorw. von Nedo P. Baulzen, 1987. T. 1, 174 S. T. 2, 122 S.
- Budniak D.* Studium konfrontatywne łączliwości leksykainej rosyjskich i polskich leksymów oznaczających kolor. Opole, 1987, 115 s.
- Choma V.* Poézia revolučnej doby: Z dejín modernej ruskej poéz / Dosl. Slobodník D. Bratislava, 1987, 285 s.

Czerniakiewicz J. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR. 1944—1948. Warszawa, 1987, 264 s.

Eichler E. Slawische Ortsnamen zwischen Saale und Neisse: Ein Kompendium. Bautzen, 1987. Bd. 2. K — M. 204 S.

Enzyklopädie des Märchens: Handwörterb. zur hist. und vergl. Erzählforschung / Hrsg. von Brednich R. W. et al. New York, 1987. Bd. 5. Fort — Gott. 1440 Sp.

Kizwalter T. Ludzie i idee Oświecenia w Polsce porozbiorowej. Warszawa, 1987, 175 s.

Kmeč J. Jugoslovensko-slovačke slavističke veze: Priljeno na sednici Odeljena društvenih nauka i umetnosti, 19. XI 1986 godine / Ured. Popov Č. Novi Sad, 1987, 549 s.

Kos J. Predromantika. Ljubljana, 1987, 97 s.

Kozłowski J. Rozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa polskiego w Niemczech w latach 1870—1914. Wrocław etc., 1987, 288 s.

Leinwand A. Tadeusz Szturm de Sztrem. Warszawa. 1987, 215 s.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. К. КАРКО (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУВО,
В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОРЯ.

Адрес редакции: 121069, Москва, Г-69, Трубниковский пер., д. 30а

Телефон 124-98-11

Зав. редакцией *Е. В. Пономарева*

Ж-17

Б ОРДИНКА 34/38 КВ 40
ТОЛСТОМУ Н И
70891

Цена 1 р. 20 к.

Индекс 70891

**В издательстве «Наука»
готовится к печати книга:**

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НАРОДАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И КРЕЩЕНИЕ РУСИ. 17 л. 2 р.

1988 год — год 1000-летия крещения Руси. Книга, посвященная этой дате, рассказывает о принятии и утверждении христианства у славянских народов Византии, Болгарии, Сербии и Хорватии, Словении, Великой Моравии, Чехии, Польши, Венгрии и у полабо-прибалтийских славян. Показаны культурное взаимодействие Киевской Руси с этими странами в области литературы, искусства, а также зарождавшиеся научные знания и общественные институты.

Издание предназначено для историков, философов, славянистов, широкого круга читателей.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

252030 Киев, ул. Пирогова, 4;

197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7;

117192 Москва, Мичуринский проспект, 12;

630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22.